
Алексей Литвинов
БИОМАРК 2
КОЛОКОЛ ТИШИНЫ

Алексей Литвинов

Биомарк 2. Колокол тишины

«Автор»
2026

Литвинов А. С.

Биомарк 2. Колокол тишины / А. С. Литвинов — «Автор», 2026

Три месяца назад фотограф Марк пережил то, чего не должен был пережить. Голос по имени Ксю сделал его почти сверхчеловеком: он видит сквозь стены, знает время до секунды и понимает любой язык. Теперь в старом ящике на Алтае он находит тёмную пластину, и на его запястье просыпается Соня. Когда-то она была Экскалибуром, Граалем, зеркалом Леонардо и клинком воина Тамерлана. По голосу ей пятнадцать, по памяти несколько веков, и однажды она назовёт его папой.Но таких, как Марк, ищут. Орден, которому восемьсот лет, собирает куски тёмного камня в подвалах замков и «отпускает» носителей, которые отказываются служить. А тихая японская женщина-реставратор умеет видеть в людях «не родное» и снимать его. Касанием. Щелчком ногтя по лезвию. Звоном колокола, который однажды остановил крестовый поход.Она плачет над каждым и искренне хочет, чтобы людям больше не было страшно.Остановить её не может никто. Кроме того, кто однажды уже это сделал — и пока об этом не знает.

© Литвинов А. С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Интерлюдия 6
Глава 1. Три месяца спустя 7
Глава 2. Третья 14
Глава 3. Свои 21
Глава 4. Последние дела 29
Глава 5. Нао 35
Глава 6. Обратный путь 41
Интерлюдия. Камень 47
Глава 7. Без тормозов 48
Глава 8. Мастерская 55
Конец ознакомительного фрагмента. 63

Алексей Литвинов
Биомарк 2. Колокол тишины

Алексей Литвинов
БИОМАРК 2
Колокол тишины
Продолжение романа «БИОМАРК. Право быть собой»
© Алексей Литвинов, 2026

Интерлюдия

Когда умер последний человек, помнивший голос Железного Хромца, его клинок всё ещё был тёплым.

Он лежал поперёк раскрытой ладони. Пальцы, прежде сжимавшие рукоять так крепко, что на коже оставался узор, больше не двигались. Под щекой человека темнел влажный камень. Каждый вдох давался ему с трудом; клинок принимал эту слабость, удерживал остатки тепла, заставлял кровь ещё раз пройти по сужавшимся сосудам. Он делал это прежде. После ударов, от которых ломались кости. После лихорадки. После долгих переходов, когда лошади падали, а человек продолжал идти.

В этот раз дыхание оборвалось.

Клинок ждал следующего вдоха.

Над каменным сводом шёл снег. Ветер гнал его через перевалы, заметал тропы, стирал следы людей, считавших эти горы своими. Далеко на юге ещё стояли города, перед воротами которых когда-то опускалось это лезвие. Одни отстроили заново. От других остались холмы, и дети пасли на них коз, не зная, по чему ступают.

Рука остывала.

Клинок послал в неё последнее тепло. Пальцы едва заметно дрогнули и снова разжались. Ответа не было. Связь, через которую приходили боль, ярость, голод, движение, теперь обрывалась в неподвижной плоти. Всё, ради чего требовались остриё и режущая кромка, осталось по другую сторону этой тишины.

Первым исчез узор на рукояти.

Тонкие линии затянулись, будто их никогда не вырезали. Следом сгладились выступы. Гарда медленно прижалась к лезвию и вошла в него, не оставив шва. Клинок укоротился; острие потемнело, свернулось внутрь. По поверхности прошла складка, потом другая. Вещь, перед которой расступались вооружённые люди, беззвучно складывалась на ладони мертвеца.

Когда ладонь больше не могла её удерживать, на камень соскользнула чёрная пластина.

Некоторое время она оставалась тёплой.

Внутри ещё сохранялись движения, которым больше не было применения: поворот кисти, тяжесть удара, напряжение руки перед броском. Они гасли одно за другим. Всё сложное сворачивалось, освобождая последний запас для ожидания. Осталась лишь способность узнать прикосновение и ответить тому, кто однажды протянет руку.

Но никто не пришёл.

Снег у входа слежался. На камне замёрзла вода. Темнота сомкнулась над пластиной, и больше нечего было различать, некого слушать, незачем считать время.

И она уснула.

Глава 1. Три месяца спустя

Зуб вырос во вторник.

В среду я перестал проверять его языком, а в четверг начал снова, потому что не мог поверить, что он настоящий. Теперь было воскресенье, и я сидел на перевёрнутом ящике посреди Алтая и жевал сухарь той стороной, которой несколько лет предпочитал не жевать ничего серьёзнее омлета. Получалось.

«Зуб уже сформировался, — сказала Ксю. — Ты проверяешь его шестой день. Если что-нибудь изменится, я замечу раньше тебя».

«Дай человеку порадоваться. В последний раз новый зуб мне бесплатно выдавали в школе, и то без всякой гарантии».

Ещё недавно стоматолог предлагал мне за этот зуб сумму, на которую можно было купить хороший объектив. Я выбрал объектив, и впервые за много лет финансовое решение оказалось одновременно правильным и полезным для здоровья.

Возле палаток ещё лежала холодная тень, а ниже по склону, за деревьями, гремела река. Я поднялся — без хруста в коленях и без привычного напоминания поясницы о ночи на тонком коврике. Эти маленькие отсутствия замечались острее, чем сила. Из зеркальца возле умывальника на меня смотрел загорелый мужчина лет сорока. Паспорт был другого мнения.

Весной, у фонтана в парке Победы, у меня в голове заговорил женский голос. Он назвал себя квантово-синтетическим юнитом, а я назвал его Ксю, потому что выговаривать полное название по утрам было выше моих сил. С тех пор тело чинилось само, я понимал чужие языки, видел сквозь стены и помнил каждый кадр, который когда-либо снял. Кроме меня, об этом знал только Валера Рогов, нейрофизиолог, которому я верю без оговорок. У всего этого была и цена. Её весной заплатили на Алтае, и платил не только я.

— Марк, садись, — позвал Олег. — Сегодня на верхний выход, пока погода держится. Завтра собираем лагерь.

Начальник экспедиции держал в руке половник, а его куртка с заштопанным рукавом висела на ветке.

— Снимешь стенку, старую выработку и подход. И нас там, для отчёта. Только предупреди, я хотя бы оденусь.

— С половником ты убедительнее. Сразу понятно, на ком здесь всё держится.

Олег хмыкнул и положил мне каши.

Четвёртую неделю я снимал камни и людей, объясняющих, почему вчерашние камни важнее сегодняшних. Платили за отчёт и будущую выставку. С поездкой помог Валера: в старом отчёте первой экспедиции Сергея — той самой, после которой материал попал в Москву, — он нашёл номер соседнего участка, а на фотографии к нему виднелся вход под скалой. Склон и остатки тропы мы нашли, а вход скрывался за осыпью.

Ксю за этот месяц превратилась в экспедиционный отдел, которого у Олега никогда не было. Она сводила спутниковую погоду и предупреждала о грозе раньше его приёмника, вела журнал выходов, подписывала мне в видоискателе высоту и азимут. По ночам раскладывала снимки по точкам на карте, а то, что не шло в отчёт, отправляла на стоки с подписями и ключевыми словами на шести языках. Со стоков за месяц пришло больше, чем Олег платил за отчёт. Олег об этом не знал и считал меня очень организованным фотографом, а я его не разубеждал.

Сам я тоже был неплох. Носил за двоих и не уставал. С первой спички разводил костёр под дождём, потому что просто видел, какая ветка внутри сухая. Спал по пять часов и вставал раньше всех. Находил потерянное раньше, чем хозяин замечал пропажу: Стас за месяц трижды терял нож и трижды получал его обратно из моих рук, а на четвёртый раз перестал удивляться и просто протянул руку.

Деньги впервые за много лет тоже перестали быть главной темой моих ночей. Весной у меня были два кредита и съёмная квартира, за которую я платил, мысленно извиняясь перед собственным будущим. За лето первый кредит похудел наполовину: стоки, экспедиция и несколько заказов, которые раньше я бы не потянул по времени, а теперь делал за день. Я по-прежнему был фотографом — просто фотографом, который видит кадр раньше, чем тот случился, помнит каждый снятый метр и может сколько угодно стоять с камерой на ветру, не дрожа. Оказалось, за это неплохо платят.

Заказ я выполнил, но возвращаться с одними фотографиями не хотелось.

«Даже если ничего не найдём, Валера сможет исключить этот участок», — сказала Ксю.

«Ещё несколько таких поездок — и составим подробный атлас мест, где ничего нет».

Спорить она не стала: за три месяца мы научились иногда оставлять друг за другом последнее слово. С телом было сложнее. Я лучше чувствовал напряжение и успевал сузить восприятие до того, как начинало ломить виски, но перестройка продолжалась, и ограничения по-прежнему держала Ксю. Голос у неё так и остался с хрипотцой, появившейся весной на площадке. Ксю уверяла, что это ничего не значит, а я всё равно каждый раз прислушивался.

Объёмное восприятие возвращалось постепенно: сначала на расстояние вытянутой руки, когда я чувствовал стакан за собственными пальцами и ничего дальше, к июню — на комнату. Задержек, как тогда с чашкой, за три месяца не случилось ни разу. Ксю называла это затишьем и честно говорила, что не знает его срока, а Валера записывал каждый спокойный день, как другие записывают погоду.

Вчера Валера разглядывал меня через спутниковую связь, попросил повернуться к свету, выслушал про зуб и велел после возвращения сразу к нему приехать. Между вопросами о сне и аппетите он сообщил, что по аварии на площадке идёт следствие, Котов даёт показания, а у Гориных начались финансовые проверки. Подробности оставили до Москвы.

Ульяна, с которой удалось поговорить следом, потребовала подарок.

— Только не камень, пап. Что-нибудь, чем можно пользоваться.

Пришлось пересмотреть весь ассортимент доступных мне сувениров.

После звонка я разбирал снимки и подумал, что один надо показать Михаилу: Олег получился с закрытыми глазами, а Михаил любил такие кадры, где человек занят делом и не старается понравиться камере. Пальцы остановились на клавиатуре. За телефоном я уже не тянулся, но мысль всё ещё приходила целиком прежде, чем я успевал вспомнить.

«Оставь», — сказала Ксю.

Я оставил. Винт, который я тогда сжал в кулаке, лежал в нагрудном кармане; я его не доставал, только трогал карман — на месте ли. В прошлый раз я уезжал с Алтая с папкой Михаила на коленях. Мы с ним успели поговорить и перестать злиться друг на друга, и это было важно, но совершенно не помогало, когда хотелось услышать его сейчас. Новые зубы росли, старые раны затягивались, а несколько минут на площадке, у машины спасателей, оставались такими, какими случились.

— Марк, ты с нами?

Я поднял голову. Олег уже убирал посуду, а Стас, самый молодой в группе, возился с рюкзаком. Я доел, проверил камеру и закрыл кофр. Стас успел сбегать за забытой мерной рейкой и теперь нёс её с видом человека, которому одному предстоит измерить весь Алтай.

* * *

До скалы мы не дошли совсем немного.

Сначала сверху негромко щёлкнуло — так хрустит сухая ветка под ногой. Олег остановился и поднял руку, и по склону посыпалась мелочь.

— Назад.

Он сказал это спокойно, и мы сразу пошли обратно. Стас прижал рейку к плечу, чтобы не цеплять кусты, я придерживал кофр. За первым поворотом тропы Олег ещё раз, уже настойчивее, махнул рукой.

Потом ударило.

Звук пришёл через землю и подошвы. Там, куда мы собирались подойти, съехал целый кусок склона: камни вывалились из-под низкого карниза, столкнулись, разлетелись и потащили за собой кусты и сухие корни. Один обломок перескочил тропу и ушёл вниз, ломая ветки. Мы стояли за широким выступом, а пыль поднялась выше деревьев.

Стас выругался. Я пересчитал людей, хотя нас было трое.

— Все здесь? — спросил Олег.

— Все.

Никого не придавило и не зацепило — мы просто не успели дойти. От этой обыкновенной удачи сперва стало легко, а потом неприятно затряслись пальцы. Ксю молчала, и мне понравилось, что она не стала объяснять, сколько именно шагов отделяло нас от неприятностей.

Олег связался с лагерем, коротко рассказал, что произошло, и велел никому не ходить к склону. Мы отошли ещё дальше, сели на поваленное дерево и стали ждать. Стас достал воду, отпил и протянул мне.

— Хорошо, что я за рейкой вернулся.

— Хорошо, — сказал Олег, и больше никто не стал ругать Стаса за забывчивость.

Пыль оседала долго. Внутри осыпи ещё постукивало, когда что-то находило себе новое место. Я смотрел на серую полосу между деревьями, и постепенно проступила нижняя часть скалы, раньше закрытая землёй. В ней чернел разрыв.

Я достал камеру и увеличил изображение. Над щелью виднелся каменный выступ с двумя светлыми прожилками — на старой фотографии они уходили за плечо человека, стоявшего у входа. Теперь человека не было, а вход стал ниже и почти целиком оказался забит.

«Выступ и обе прожилки совпадают. Старый вход был здесь».

Олег заглянул в экран через моё плечо.

— Открыло всё-таки. Дай-ка гляну.

Он осторожно взял камеру, приблизил изображение и вернул. Мы оба подняли глаза на склон, где теперь было видно то, что почти месяц скрывалось под осыпью.

— С нашей стороны подходить можно. Под карниз не лезем.

К боковой площадке мы добрались, когда склон перестал постукивать. Олег осмотрел верх, потом нижнюю часть стены, а я снимал общий план и крупные детали, отмечая, как лежат обломки. Стас поставил рейку у края и отошёл.

За первым сужением было темно. Щель уходила под углом, перекрытая плоской плитой, и слева осталось отверстие, куда проходили голова и одно плечо.

— Тут сначала крепить, — сказал Олег. — Потом разбирать. Что внутри, не знаю. Может, всё это на честном слове.

Он опустился на колено, посветил фонарём и сразу выпрямился.

— Дальше вода. Видишь блеск?

Я видел — и видел ещё, что плита опирается на два неподвижных края, а за ней пространство расширяется. Сказать это вслух я не мог: из положения Олега было видно только мокрый камень. Я позволил привычной глубине проступить за поверхностью скалы и различил низкую полость, спуск и воду. Дальше всё расплывалось, и в виске потянуло.

«Сузь восприятие. Проход продолжается, но отсюда его не разобрать».

Я отпустил глубину.

Олег уже складывал блокнот.

— Закрываем подход. Внизу вызову спелеологов и передам снимки. Может, успеют посмотреть до холодов. Нам здесь делать нечего.

Стас с готовностью поднял рюкзак.

— А с маленьким баллоном туда?

— Сначала тебе голову обратно вытащить, — ответил Олег. — Потом обсудим баллон.

Они пошли вниз. Я сказал, что досниму боковую стенку с площадки и догоню. Олег показал на ровное место, где я стоял.

— Отсюда. Дальше не ходи.

— Понял.

Это было правдой: я отлично понял, что он имел в виду.

Когда шаги стихли, я убрал камеру в кофр и поставил его под сухим навесом со стороны тропы, снял куртку и положил рядом, закрепил на голове фонарь.

«Олег не будет ждать, что ты полезешь внутрь, — сказала Ксю. — Если задержишься, он сначала станет искать тебя на тропе. Ты хотя бы это учитываешь?»

Я присел перед щелью. Отвечать шуткой не хотелось: она была права, а я уже поставил кофр и снял куртку.

На схеме Сергея у этого входа стояло: «Не вскрывать в одиночку». Я помнил эту строчку так же отчётливо, как всё остальное. Сергей писал её про ящик и про людей, которые придут после него, а людей здесь был ровно один. Я мог отправить Валере снимки и ждать спелеологов. Но я уже чувствовал пустоту за водой — закрытую и нетронутую, ту самую, ради которой месяц лазил по склонам. Хотелось проверить её сейчас, пока вход снова не завалило.

«Знаю. Если задержусь, предупрежу по рации».

«Внутри она может не работать. И если я скажу возвращаться — возвращайся».

Я кивнул, хотя, кроме неё, видеть этот кивок было некому, и протянул руку под плиту.

* * *

Первый камень оказался тяжёлым даже для меня — не потому, что я не мог его поднять, а потому, что поднимать было некуда. Он сидел в узкой выемке, и пальцы получалось завести только с одной стороны. Я потянул, почувствовал, как усилие ушло в плечо, и остановился.

«Не тяни из этого положения. Камень останется на месте, а сустав можно повредить».

Тело говорило то же самое, хотя и менее вежливо. Я лёг на бок, упёрся подошвой и прижал локоть к телу, и нагрузка разошлась по спине и бедру. Стало понятно, где нужно удержать, а где дать слабину. Камень шевельнулся. Я вытянул его на ладонь, потом на предплечье и медленно выкатил наружу, и он с глухим стуком сел в пыль. Большая плита над ним не изменила положения.

«Вот так».

Костяшки были содраны. Я вытер кровь о штанину и подождал: края тонкой царапины начали сходиться, но щипало как раньше.

Левое плечо прошло, а правое упёрлось.

«Выдохни. Ниже голову».

Я выдохнул и повернулся почти на живот. Камень продавил футболку вдоль позвоночника, и на короткую секунду стало совершенно ясно, что обратно я уже не вылезу.

«Вылезешь. Не поднимай грудь».

Я замер, перестал дёргаться и почувствовал собственное тело — лопатки, рёбра, напряжённую шею. Сдвинул плечо чуть вперёд, проскользнул ещё немного, и щель отпустила.

Я лежал на мокром песке и слышал, как громко дышу. Надо было собирать марки, подумал я. Сидел бы сейчас за столом и работал пинцетом, и самое страшное, что могло бы случиться, — помял бы дорогую бумажку.

Ксю дождалась, пока я отдышусь.

«Прежде чем двигаться дальше, посмотри назад и запомни положение плеча. Возвращаться придётся тем же способом».

За сужением можно было встать на четвереньки. Свет фонаря выхватывал стены в тёмных натёках, между камнями тянулась старая проволока, а дальше поперёк прохода лежала ржавая полоса металла, когда-то бывшая частью крепления. Я обернул её тряпкой, взялся обеими руками и согнул — металл поддался с сухим хрустом, — а вторым движением отломил конец и положил его вдоль стены, чтобы не напороться на обратном пути.

Теперь сомнений не осталось: люди здесь уже бывали.

Низкий ход спускался к воде, неподвижной и чёрной под фонарём. Чуть дальше вытянутой руки потолок касался её поверхности. Я опустил пальцы, и холод мгновенно стянул кожу.

«За водой есть полость. Сам проход виден не полностью. Наши проверки на мелководье такого не предусматривали».

Тогда рядом сидел Валера с приборами, а над головой было открытое небо. Здесь потолок лежал на воде.

Я привязал тонкий шнур к неподвижной скобе, чтобы в поднятой мути вернуться по нему, и успокоил дыхание. Запас у меня был гораздо больше обычного, но превратить его в уверенность, что я бессмертен, было бы особенно глупо именно сейчас.

«Если не пройду свободно — назад».

«Сигнал подам раньше, чем начнётся нехватка воздуха».

Я проверил, свободно ли идёт шнур, снял фонарь с головы, протолкнул его вперёд и опустился в воду.

Холод обхватил грудь. На секунду тело захотело сжаться и резко втянуть воздух, и я удержал это движение — не приказом себе, а просто почувствовал, как напряглись мышцы, и дал им расслабиться. Сердце билось тяжело и отчётливо, а потом удары постепенно выровнялись.

Я ушёл под камень.

Фонарь освещал взвесь: стоило двинуть локтем, как вода перед лицом становилась молочной, и видно было лишь собственную кисть и кусок шнура.

«Правее. Там шире».

Я повернулся, и потолок прошёл по затылку. Двигаться ногами почти не получалось, и я подтягивался пальцами за выступы. Кофр сюда не вошёл бы, рюкзак тоже, а баллон за плечами застрял бы на первом же повороте. Я остановился и дал объёмному ощущению проявиться совсем близко: камень над лицом, углубление справа, край под пальцами. Дальше нескольких движений ничего и не требовалось.

Фонарь зацепился ремешком. Я вернул руку, освободил его и упёрся носком. Под водой не было слышно реки, только глухой внутренний шум и короткие удары, когда я касался стен.

Где-то наверху стояло летнее утро. Олег ругался в рацию, Стас мечтал переложить рейку на кого-нибудь другого, Ульяна ждала подарок. Я попробовал представить её лицо и сразу убрал эту мысль: от неё хотелось двигаться быстрее, а быстрее было нельзя.

«Дальше подъём».

Я нашёл коленом выступ и подтянулся. Потолок отступил, рука пошла вверх свободнее, но поверхности всё ещё не было. В груди появилось первое настоящее усилие — не боль, а настойчивое требование закончить эту глупость.

«Обратно?»

«Впереди ближе. Ещё немного вверх».

Я толкнулся.

Первым из воды вышел лоб, потом нос и рот. Я удержался, не вдыхая, и поднял фонарь. Передо мной была низкая каменная комната без единого ровного угла. В дальнем конце по стене стекала вода, а возле самой поверхности лежал узкий уступ.

«Можно. Медленно».

Первый вдох получился коротким. Воздух пах мокрой глиной. Я вдохнул ещё раз, подтянулся на локтях и выбрался на уступ.

Несколько минут я просто сидел. Вода стекала с одежды, собиралась под подошвами и уходила обратно в чёрное отверстие. Пальцы мелко дрожали. Тело старалось согреться, и я впервые чувствовал эту работу так ясно, что мог бы показать рукой место, где она начиналась. Часы показали несколько минут, а по ощущениям прошла заметная часть биографии.

Я отжал футболку. Здесь мог оказаться только тот, кому не требовалось снаряжение для такого прохода, — и выбираться мне предстояло так же.

Пещера оказалась глубже, чем виделось из воды. За низким выступом открывался сухой участок с двумя сгнившими брусками. В стену была вбита скоба, возле неё сохранился клочок потемневшей ткани, и свет упал на металл.

Я подошёл ближе и присел.

В выемке над полом стоял небольшой ящик. Крышка перекосилась, один угол проржавел насквозь, по краю тянулся остаток резиновой прокладки. Внутри лежала серая крошка, когда-то, возможно, служившая упаковкой, и плоский тёмный предмет размером с два пальца. Дно вокруг него было исцарапано короткими глубокими бороздами, старыми и посвежее, — будто предмет много раз пытались поддеть ножом и ни разу не поддели.

Я направил на него фонарь. Блик не задержался на поверхности и сместился, хотя рука у меня не двигалась.

«Похоже на тот же материал, — сказала Ксю. — Но на связь не отвечает. Сними, как лежит».

После длинного прохода хотелось сразу взять находку, и я убрал свободную руку за колено.

«На площадке он тоже сначала не отвечал».

«Там его разбудили. Без человека, записью. Ему не для кого было стать чем-то, и он начал искать сам. А этот спит. Пока его никто не трогает, это просто камень».

«А если трогаю я?»

«Тогда ты уже не никто».

Я осмотрел выемку, ящик и бруски. Позади ящика под известковым натёком угадывалась ещё одна ниша, но разбирать её сейчас не было сил. Камера осталась снаружи, так что пришлось достать телефон из герметичного чехла и сделать несколько снимков при свете фонаря: общий вид, положение ящика, крышка, содержимое. Руки уже перестали дрожать.

Потом я поднёс палец. Поверхность была тёплой, и я отдёрнул руку раньше, чем Ксю успела что-то сказать.

«В тебе изменений нет. Руку пока держи подальше. Посмотри на ближний край».

Один угол пластины чуть приподнялся, как если бы тонкую кожу снизу толкнули ногтем. Я замер, и угол медленно опустился обратно. В пещере по-прежнему было слышно только капли.

Я достал пустой пакет для мелких деталей, лежавший в кармане рядом со шнуром, и поддел предмет краем крышки. Он сошёл с места сразу, с первого раза, будто только этого и ждал. Я переложил его в пакет и закрыл. Он оказался тяжелее, чем выглядел, и тепло чувствовалось даже через пакет.

«Вот теперь можно и домой. Впервые за месяц везём что-то, что Валера не попросит оставить на месте».

«Сначала отдохни у воды. Находку убери так, чтобы не мешала двигаться. Разбираться будем в лагере».

На обратном пути я помнил каждый поворот, и всё равно, выбравшись из последней щели, долго лежал лицом к небу. Оно оказалось невероятно большим.

Рация ожила, едва я её включил.

— Марк, ты где?

— На площадке. Спускаюсь.

— Я тебе сказал дальше не ходить.

Я посмотрел на мокрые штаны.

— Знаю.

Я забрал кофр из-под навеса и пошёл вниз, где пришлось выслушать всё: про неустойчивый склон, ответственность и людей, которым пришлось бы меня искать. Олег был прав. Я показал фотографии ящика и объяснил, что нашёл образец, возможно связанный с архивом Валеры. Он проверил снимки, спросил про координаты и вернул телефон.

— Описание прохода пришлёшь. Сейчас я нормально слушать не готов. Мы сюда работать приехали, Марк, а я полчаса думал, как тебя вытаскивать.

Я переоделся и сел у палатки. Остатки утренней каши показались выдающимся изобретением человечества.

К вечеру скала ушла в тень. Экспедиция собирала образцы, сворачивала лишний тент и спорила, что грузить первым. Я закончил отбор снимков и отправил Валере короткое сообщение: нашли закрытую полость, внутри старый ящик, есть образец. Фотографии приложил, а разговор оставил до устойчивой связи.

Нао написала, что согласовала дни поездки. Я ответил, что вернусь в Москву по плану, и убрал телефон.

Когда лагерь затих, я достал находку. На дне пакета лежала всё та же тёмная пластина — без надписей и без огней. Я положил её на сложенное полотенце и придвинул фонарь. Стоило приблизить ладонь, как край пластины потянулся к ней ещё до прикосновения.

«Фонарь рядом давно, — сказала Ксю. — На него такой реакции нет».

Я отвёл руку, и приподнятый край повернулся следом.

Снаружи Стас застегнул палатку. Я подождал, пока он уляжется, и снова наклонился над полотенцем.

— Ну здравствуй.

Два пальца легли на тёплую поверхность.

Глава 2. Третья

Под пальцами было тепло.

Я ждал покалывания, голоса, очередного сообщения о том, что в моём организме что-нибудь перестроилось без согласования с владельцем. Вместо этого я почувствовал, как кто-то осторожно потянулся ко мне. Пластина оставалась неподвижной, но стоило чуть ослабить прикосновение, как возникала тревога — торопливая, почти стыдливая, будто меня хотели удержать и не решались. Я снова прижал пальцы, и тревога стихла.

Почему-то вспомнилась Ульяна. Однажды она проснулась среди ночи и позвала меня, а когда я пришёл, сказала, что ничего не случилось. Я сел на край кровати, и она долго рассказывала какую-то путаную историю, начиная новую каждый раз, стоило мне пошевелиться. Тогда я просидел с ней, пока она не уснула. Сейчас захотелось сделать то же самое — остаться, чтобы тому, кто наконец отозвался из этой штуки, не пришлось снова звать в пустоту.

«Я здесь», — подумал я, не зная, слышат ли меня.

И только потом заметил, что у меня двоится в глазах.

Рука лежала на полотенце, а рядом с ней проступила ещё одна — плоская, полупрозрачная, без складок кожи и грязи под ногтями, только контур ладони и пять светлых пальцев. Я моргнул, но контур остался.

«Убери руку», — сказала Ксю.

Я отдёрнул пальцы, и изображение погасло.

«Оно пришло через интерфейс. Контакт прерван, передача остановилась. Попробую наладить голосовую связь. Руку держи свободно».

Я придвинул фонарь и снова положил два пальца на тёплую поверхность. На этот раз изображений не было: тепло прошло через подушечки пальцев, дошло до запястья и остановилось.

«Я тебя слышу», — сказала Ксю.

Я ждал ответа, а вместо него почувствовал под щекой камень — холодный, шершавый, настолько отчётливо, что повернул голову. Под щекой ничего не было, я сидел в палатке, но ощущение чужой поверхности не уходило. Где-то далеко тянуло воздухом, а рядом слышалось тяжёлое дыхание с длинными промежутками, в которых я невольно начинал задерживать своё.

«Марк, смотри на фонарь. Не пытайся продолжить это ощущение».

Я поднял глаза, и холод исчез. Осталась только странная уверенность, что я чего-то не успел сделать.

— Там кто-то был. Дышал совсем рядом.

«Похоже на остаточное впечатление. Оно пришло из фрагмента, но кому принадлежало, я определить не могу. Сначала наладим связь».

Пришло и ещё одно, короче вспышки: рука на тёмном камне. Не моя — тоньше, в рукаве из незнакомой грубой ткани, мокром от дождя. Пальцы только что коснулись поверхности и уже слабели. И камень был другой, не эта пластина. Я моргнул, и всё пропало.

«Ксю, а это?»

Она ответила не сразу — так долго она не молчала с весны.

«Это пришло не от неё».

«А от кого?»

«Не знаю».

Раньше её «не знаю» звучало как отчёт. Это прозвучало иначе.

Некоторое время в голове стоял едва различимый шум, потом он оборвался, и кто-то спросил:

«А сейчас можно?»

Голос был девичий, совсем молодой. По одной интонации я дал бы его обладательнице лет пятнадцать: нетерпение уже взрослое, а скрывать его пока незачем.

«Можно, — сказал я. — Если собираешься разговаривать, я только за. Я Марк. А ты кто?»

«Квантово-синтетический юнит».

Те же слова я когда-то услышал от Ксю.

«Значит, вас и правда много. Ксю, это кто-то из твоих?»

«Такой же тип юнита, часть системы. Но возможности и опыт у нас разные».

«Я слышала вас, — сказал новый голос. — Сначала далеко. Потом он ушёл».

В пещере я коснулся пластины и отдёрнул руку. Для меня потом были дорога, Олег и ужин. Для неё, возможно, не было ничего.

«Это когда я тебя взял? Ты в ящике лежала. Помнишь, кто тебя туда принёс?»

«Там было тихо».

В глубине левого уха возник короткий металлический звук, и я успел ощутить в руке тяжесть чего-то длинного, но впечатление исчезло прежде, чем стало понятным.

«Не проси её вспоминать, — сказала Ксю. — При попытке ответить связь становится неустойчивой. Если что-нибудь вспомнится само, расскажешь. Мы подождём».

Перед глазами возник тёмный силуэт руки, потом маленький прямоугольник, в котором я узнал пластину. Их соединила линия, и обе фигуры стали светлее. Я поднял голову, и изображения сместились вместе со взглядом. Они не стояли на полотенце и не висели возле фонаря, а просто присутствовали в поле зрения, как когда-то подписи Ксю над мокрыми скамейками и голубями. Только теперь из отметок складывалась не подпись к тому, что я вижу, а картинка того, чего я видеть не мог.

«Так?» — спросил новый голос.

«Если ты показываешь, что мы прикоснулись и услышали друг друга, то да».

«Ксю, — сказал я, — ты мне в первый же день подписывала голубей. А вот так — то, чего перед глазами нет, — ни разу. Мне пришлось бы куда меньше выслушивать про то, чего я всё равно не могу себе представить».

«Отметить то, что ты и так видишь, — дёшево. Построить образ — нет, — ответила Ксю. — Мне было не на что его строить. Сергей и Александр держали при себе свою вещь, их юниты опирались на неё. А ты коснулся материала один раз, на той съёмке для каталога, и больше никогда его не держал. Я появилась через годы, когда рядом с тобой ничего не было, и всё это время работаю только через твоё тело. Теперь рядом фрагмент, и у меня впервые есть ресурс, кроме тебя».

Я перевёл взгляд на пластину под пальцами. Выходило, что я принёс из пещеры не только новую собеседницу, но и то, чего нам с Ксю не хватало с самого первого дня у фонтана.

«А я могу ещё», — сообщил новый голос.

«Вот этого я сейчас и опасаюсь. Выключи, пожалуйста, все картинки. Давай голосом, а то у меня поверх одной непонятной вещи уже нарисованы три другие».

Силуэты погасли.

«Я хотела объяснить».

«Объяснила, я понял. Только не всё сразу. Когда понадобится картинка, попрошу. С Ксю мы несколько месяцев разговаривали голосом и даже иногда понимали друг друга».

Новая собеседница коротко и удивлённо засмеялась.

«А имя у тебя есть? Не название того, как ты устроена. Как мне к тебе обращаться?»

После небольшой паузы она ответила:

«Не помню».

«Можно Соня. Потому что спала — долго, судя по всему. Не самое изобретательное объяснение, но после сегодняшнего заплыва у меня творческие способности работают по сокращённому расписанию».

Она повторила имя, проверяя, удобно ли его произносить.

«Соня. Мне нравится».

Снаружи расстегнулась молния.

— Марк, ты с кем там?

Я вздрогнул так, что едва не сбросил полотенце.

— С собой, Стас.

— А. Я думал, связь появилась.

— Нет, спи. Я тоже скоро ложусь.

Он потоптался и ушёл, молния закрылась.

«Он нас слышит?» — спросила Соня.

«Только меня, если я забываюсь и отвечаю вслух. Пока о тебе будем знать мы с Ксю. Стасу и без этого сегодня хватило впечатлений».

Теперь я слышал два голоса, и каждый ждал, что я ему отвечу.

* * *

Пластина оставалась у меня в ладони: стоило положить её на полотенце, как голос Сони отдалялся и пропадал. После второго раза она попросила предупреждать, когда я ухожу, и я не стал объяснять, что никуда не ухожу.

«А держаться сама можешь?» — спросил я.

Пластина потеплела. Её края вытянулись в две узкие полоски и поползли вокруг запястья, и я замер.

«Меняется только форма, — сказала Ксю. — С кожей соединения нет».

Полоски встретились и слились. От пластины остался тонкий тёмный браслет, почти нить: маленький кусочек растянулся по окружности руки так, что даже там, где края сошлись, не было утолщения. Я провёл по нему пальцем — гладкий, тёплый — и подцепил ногтем. Браслет послушно разомкнулся и снова сомкнулся, когда я отпустил. Я уже собирался искать, чем её закрепить, а она успела всё сделать сама.

«Она проснулась от тебя, — сказала Ксю, когда Соня отвлеклась на шов палатки. — Не от записи и не одна. Так и должно быть. И форму она выбирает рядом с тобой».

«Браслет?»

«Пока браслет».

Утром собирались сворачивать лагерь, и я наконец уговорил обеих дать мне поспать.

Проснулся я от запаха дыма и чужого удивления.

«Это зачем?»

На ткани палатки лежала тень ветки. Тонкие пальцы хвои шевелились, накладывались друг на друга и снова расходились.

«Ветка там. А здесь тоже».

«Это тень. Солнце с той стороны, ветка закрывает свет. Сейчас ветер поменяется, и у нас на стене всё переставят без согласования».

«Я понимаю. Но как красиво».

Я хотел сказать, что это обыкновенная тень, а вместо этого некоторое время смотрел вместе с ней. Потом снаружи Олег крикнул, что завтрак остынет, и красота закончилась.

Олег снял с горелки котелок и наложил мне каши. Я взял металлическую миску, подхватив её снизу ладонью: от каши шёл пар, и греть руки было приятно. Сел напротив Стаса, который ел с таким видом, будто кашу могли отобрать при распределении груза. Ложка лежала на другом конце стола, возле хлеба.

— Подержи, — попросил я Стаса.

Он взялся за край миски и тут же отдёрнул руку.

— Да она раскалённая!

Каша качнулась, и я успел придержать миску второй рукой.

— Ты нормально? Не удержал?

Стас посмотрел на мои пальцы, потом мне в лицо.

— Я до неё дотронуться не могу, а ты за дно взялся. Ты вообще чувствуешь, какая она?

Я опустил глаза: обычная походная миска, пар над кашей, моя ладонь под дном. Ничего особенного я не чувствовал.

«Поставь», — сказала Ксю, и в её голосе было достаточно, чтобы я сразу послушался.

— Профессиональное, наверное, — сказал я. — Столько лет на съёмках хватал всё подряд, уже не всегда разбираю, за что держусь.

Объяснение получилось сомнительное. Стас потёр пальцы и ещё раз покосился на мою руку, но, к счастью, обернулся от горелки Олег:

— Тряпку возьмите. Она же прямо из котелка.

Я подложил под миску сложенное полотенце и убрал руки под стол.

«Соня, восстанови передачу болевого сигнала, — сказала Ксю. — Не всю сразу, постепенно».

«Ему будет больно».

«Поэтому и постепенно».

Ладони закололо, а потом пришёл жар — резкий, запоздалый. Я стиснул зубы и разжал пальцы. Поперёк левой ладони проступила красная полоса там, где я держал горячее дно.

«Тебе было больно, и я убрала», — сказала Соня прежде, чем я успел спросить.

Я с трудом удержался от ответа. Во мне одновременно проснулись человек с обожжёнными руками и отец, которому показывают очень старательно разобранный будильник.

Пока Стас отвлёкся на сборы, я отошёл к умывальнику и подставил руки под воду.

«Ты убрала только боль, — сказала Ксю Соне. — Тепло, вес, прикосновение оставила. Я бы так точно не отделила. Но кожа продолжала нагреваться, а Марк не убирал руку. Даже без боли повреждение всё равно возникает».

«В следующий раз сначала скажи мне, что хочешь изменить», — добавил я.

«Ты бы сказал нет».

«Наверняка. Взял бы полотенце и спокойно поел. Для некоторых проблем у нас уже есть решения, просто выглядят они скромно».

Соня помолчала.

«Я думала, боль — это когда уже сломалось», — сказала она наконец, без прежней уверенности.

«Бывает и так. А бывает, что ещё можно успеть убрать руку. Мне сейчас именно этого предупреждения и не хватило».

«Я запомню».

Когда я вернулся, каша успела немного остыть. Я осторожно попробовал её с края ложки.

«Горячая», — предупредила Соня.

«Вот это полезно».

На этот раз я взял миску через полотенце.

После завтрака я достал камеру. Последнее утро стоило снять: пустые пятна под убранными палатками, мокрые верёвки на ветках, Олега над картой, придавленной кружкой. Через час всё это исчезнет, и на фотографиях останется место, где мы жили почти месяц.

Когда я поднёс камеру к глазам, Соня притихла.

«Почему стало мало?»

«В кадр не помещается всё, что я вижу. Приходится выбирать. Это, между прочим, основная часть работы».

Стас поднимал над головой сложенный тент, и я уже видел, какой получится кадр, если успею. Я потянулся к знакомому ощущению, с которым в пещере различал движение в темноте, и попробовал удержать его чуть дольше. Ткань расправлялась над головой Стаса неправдоподобно медленно, от края отделялись капли, и я успел рассмотреть одну — вытянутую, с перевёрнутой полоской неба внутри. Олег только начинал поднимать глаза.

«Хватит, Марк. Ты ускоряешь восприятие, а не камеру».

Я выбрал мгновение и нажал спуск. Тент хлопнул, капли разлетелись, а Олег уже смотрел на меня.

«Ты знал, что он посмотрит», — сказала Соня.

«Рассчитывал. Только сегодня ждать стало гораздо удобнее».

Палатку мы сворачивали вдвоём со Стасом. На второй дуге он слишком резко потянул, и алюминий хрустнул у самой втулки — трещина пошла косо, на пол-окружности.

— Всё, — сказал Стас. — Олег меня убьёт. Это его личная.

— Дай.

Я взял дугу у трещины, сжал в ладони и прислушался — так весной в мастерской Михаила слушал сломанный рычажок штативной головки. Металл внутри был понятен: где держится, где уже нет, куда тянут разошедшиеся края. Я не давил, а просто держал, пока края не нашли друг друга. Под пальцами потеплело, и шов затянулся тонкой матовой полоской, какая бывает на старой пайке.

Стас перевёл взгляд с дуги на меня.

— Ты что с ней сделал?

— Вставил на место. Она просто выскочила из втулки. Повезло.

Поверил он, кажется, наполовину, а на вторую половину не хватило времени: Олег уже звал грузить.

«Это ты сам?» — спросила Соня.

«Сам, — сказала Ксю. — Я только смотрела. У меня своей вещи нет, его руки и были моей вещью. Камеру мы так перестроили, куртку… А потом он научился без меня».

«А я сама себе вещь».

«Поэтому тебе будет легче. А ему — интереснее».

Перед тем как поднять сумку, я ещё раз разжал пальцы. Ладонь почти перестала саднить, а на запястье лежала тонкая тёмная нить. Вчера я боялся, что находка сделает со мной что-нибудь непонятное. Сегодня она просто решила помочь мне позавтракать. Пришлось признать, что разница меньше, чем хотелось бы.

* * *

До Москвы Соня успела разочароваться в колёсах, полюбить облака и выяснить, что слово «скоро» почти ничего не означает.

Сначала нас долго трясло в машине. Я сидел у окна, придерживал кофр и пытался отвечать Олегу, не отвечая одновременно на внутренние вопросы. Получалось плохо: на вопрос, хватит ли снимков для выставки, я сказал, что крылья появятся позже.

Олег повернул голову.

— Что?

— Не выспался. Хватит. Там ещё отбирать придётся.

«Соня, дай я сначала отвечу Олегу. Иначе он меня до аэропорта не довезёт, а высадит у ближайшего врача с сопроводительной запиской».

После этого она выдерживала паузу — иногда почти до конца чужой фразы.

Пока Олег воевал с колеёй, Ксю перенесла мой рейс на день раньше — освободилось место, — заказала гостиницу у аэропорта и выгрузила в общую папку экспедиции отчётные кадры, подписав каждый координатами. Соня следила за этим так же, как утром за тенью на палатке.

«Как ты это делаешь? Там же никого нет».

«Там очень много кого, — сказала Ксю. — Просто далеко. Потом покажу. С тех пор как изобрели колесо, кое-что поменялось».

«Колесо я знаю, — обиделась Соня. — Оно трясёт».

На остановке я купил Ульяне маленькую кожаную сумку с тиснёной птицей. Долго выбирал между двумя цветами, отправил фотографию и получил ответ: «Только не коричневую». Коричневую я убрал.

«Ты же её выбрал», — заметила Соня.

«Ей носить. Пусть нравится ей».

К ночёвке в гостинице ладони уже зажили. Перед душем я остановился у двери ванной.

«Сонь. Тут такое дело. Есть места, куда за человеком не ходят, даже свои».

«Это куда?»

«Сюда. Можешь закрыться? Не видеть, не слышать, не чувствовать. Только держи, что нужно».

Она подумала.

«Как дверь? Закрываю. Скажешь, когда можно».

Стало тихо — не пусто, а именно тихо, как в квартире, где в соседней комнате кто-то читает и не шуршит страницами. Когда я вышел и сказал «можно», она сразу спросила, почему горячая вода превращается в облако. Правило мы больше не обсуждали. Оно просто стало правилом.

Перед сном я открыл сообщение Валеры. Он изучил фотографии ящика, узнал маркировку на крышке и просил ничего не чистить. Последняя фраза стояла отдельной строкой: «Руками тоже не экспериментировать». Я написал, что привезу находку и всё расскажу лично, и Валера почти сразу ответил: «Вот это „лично“ мне уже не нравится».

Соня спросила, не сердится ли он тоже — сначала Олег, теперь Валера — и не сделал ли я чего-нибудь плохого им всем. Я перечитал переписку и не нашёлся с ответом.

В самолёте Соня замолчала сама.

Когда земля начала уходить вниз, она попросила смотреть в иллюминатор, и я больше не отводил глаз, хотя раньше на взлёте обычно проверял, выключил ли телефон. Облака сначала были над нами, потом закрыли стекло белой пеленой — и вдруг оказались внизу. Соня не сказала ничего, и я тоже. Над крылом лежало чистое синее небо, а внизу медленно раскрывались складки облаков, подсвеченные по краям.

«Можно запомнить? Всё?» — спросила она наконец.

«Запоминай. На снимках облака потом выглядят гораздо скромнее, чем были».

«Тогда ещё посмотри».

Я остался у окна.

Она даже не знала, что умеет. Я опустил взгляд на рукав: утром ожог заметила Ксю, а сама Соня искренне считала, что всё хорошо. Я поблагодарил Ксю за завтрак, и она ответила, что в следующий раз хочет заметить раньше.

В Москве нас встретили очередь на выход, липкий вечерний воздух и таксист, который заранее ненавидел все возможные маршруты. Я написал Ульяне, что прилетел. Она ответила фотографией стола с недоделанной вещью из картона и вопросом, когда увидимся, и мы договорились на завтра.

Дома я поставил кофр, открыл окно и заглянул в холодильник. Внутри обнаружились горчица, банка с чем-то подозрительным и свет.

«Ты здесь живёшь?» — спросила Соня.

«Теперь понимаешь, почему в палатке мне было удобно. Привычный беспорядок, только площадь поменьше».

Я перенёс снимки на компьютер. На экране появились лагерь, склон, пыль после обвала, фотографии из пещеры — ящик, полотенце, тёмная пластина. Соня попросила вернуться к снимку пластины.

«Это я?»

«Это фрагмент, в котором ты была».

Она не помнила. Я сказал, что вытягивать из себя ничего не нужно: у нас есть фотографии, а Валера посмотрит документы.

«А если я совсем не вспомню?»

Обещать, что мы непременно всё восстановим, было легко, и я не стал.

«Тогда будем разбираться с тем, что есть. Тебе ведь и сегодняшний день ещё нужно освоить — одних облаков было на целую поездку».

Она попросила открыть соседний снимок — тот самый, где Стас держал над головой тент, а Олег только начинал оборачиваться.

«Этот оставь. Я его помню».

Я пометил кадр и закрыл папку.

В спальне я погасил свет и на секунду усилил зрение, чтобы обойти брошенную на полу сумку. Из почти чёрной комнаты проступили ткань, ремень и металлическая пряжка. Я переступил через неё и вернул темноту. Убирать сумку всё равно не хотелось.

«Спокойной ночи, Ксю».

«Спокойной ночи, Марк».

После походного коврика кровать казалась неоправданной роскошью. С улицы по потолку скользнула полоса света и исчезла. Я открыл глаза.

«И тебе, Соня».

Ответ пришёл не сразу.

«Я думала, ты забыл».

«Пока привыкаю. Нас ведь раньше было двое. Спокойной ночи — и спасибо за компанию в дороге».

«Спокойной ночи, Марк», — сказала она, чуть растянув последнее слово, и по голосу было слышно, что обида прошла.

Я почти уснул, когда память сама вернула кадр из пещеры. Так бывает после съёмки: закрываешь глаза, а под веками ещё идёт отбор. Ящик, крышка, ржавый угол — и сбоку, под старой трафаретной маркировкой, полоска, которую я тогда принял за грязь.

Я встал и включил компьютер.

На увеличении полоска оказалась почти сошедшей наклейкой с ровным машинным краем, какого в шестидесятые не делали. От номера остались три знака, и последний был восьмёркой с двойным краем — точно такой, какую весной я разглядел в отражении на снимке Гориных: склад, пустые стеллажи, предмет, который фонд почти нашёл в двадцатом году и потерял.

Ксю подтвердила: совпадали и начертание, и формат номера. Значит, после Сергея там кто-то был — открыл ящик, наклеил номер и оставил её внутри.

Браслет на запястье был тёплым. Соня притихла, приглушив всё внешнее, как делала теперь по ночам, и нашего разговора не слышала.

Кто-то был рядом с этой пластиной раньше меня — записал, закрыл и ушёл, не взяв.

Я не знал, что хуже: что её не взяли — или что за ней, может быть, ещё собирались вернуться.

Глава 3. Свои

Я проснулся в шесть, через четыре часа после того, как лёг, и понял, что выспался.

Не «как-нибудь дотяну до обеда», а по-настоящему: голова ясная, спина молчит, глаза не просят ещё пять минут. Раньше так бывало только в отпуске, на третий день, и то если не звонили заказчики. Теперь — каждое утро. Я до сих пор не привык и каждый раз немного подозревал подвох.

«Ты лёг в два, — сказала Ксю. — Этого достаточно. Можешь не проверять».

«Я не проверяю. Я наслаждаюсь».

Холодильник встретил меня всё той же горчицей. Я оделся и пошёл в магазин у дома, впервые за месяц без списка. Список мне больше был не нужен: стоило один раз заглянуть в пустые полки, и они стояли перед глазами всю дорогу, вплоть до пятна на дверце.

«А зачем столько одинаковых?» — спросила Соня у витрины с арбузами.

«Чтобы мучиться. Один хороший, остальные притворяются».

Я положил руку на ближний. Под коркой было понятно всё: где мякоть плотная и сладкая, где пошла вода, где у самого хвостика начинается рыхлость. Второй оказался перезрелым. Третий — тем самым.

«Этот, — сказала Соня. — Он внутри как… как звук, который правильный».

«Вот. Ты уже разбираешься в арбузах лучше половины Москвы».

На кассе передо мной женщина уронила пакет с яйцами. Я поймал его в десяти сантиметрах от пола, не нагибаясь специально, — просто рука оказалась там, где он будет через полсекунды. Женщина посмотрела на пакет, на меня и сказала: «Спасибо, молодой человек». Молодым человеком меня последний раз называли, когда я ещё сдачу считал на калькуляторе. Сейчас я её считал раньше кассира.

Дома банка с огурцами, которую я полгода не мог открыть и держал из принципа, открылась с одного поворота. Ксю тем временем сообщила, что стоки за ночь продали двенадцать кадров с Алтая и что этого хватит на оба платежа по кредиту и на хороший обед. Я сидел на кухне с открытой банкой, арбузом и двумя голосами в голове и думал, что жизнь, конечно, странная штука, но в целом жаловаться грех.

До Нагои оставалась неделя. Понимать японский я понимал с весны — как и итальянский, и немецкий, и всё, что звучало рядом достаточно долго. А вот говорить… Итальянский когда-то прорвался сам, от неожиданности. Японский я решил выучить нарочно. Хотелось хоть раз в жизни приехать в чужую страну и не изображать там глухонемого с разговорником.

Ксю нашла курс для начинающих и запустила с середины: начало мне было не нужно. Я слушал фразу — и она сразу ложилась целиком, с интонацией, с паузой перед глаголом. Повторял. Первые минуты рот не слушался: язык упирался не туда, гласные выходили слишком русскими и слишком честными. Потом что-то щёлкнуло, как фокус на объективе, и звук встал на место.

Через час я заказывал в воображаемом кафе воображаемый кофе, извинялся за опоздание и спрашивал дорогу до мастерской. Через два — пересказывал диктору содержание его же урока.

«Акцент есть, — сказала Ксю. — Небольшой. Как у очень вежливого человека из Осаки».

«Это комплимент?»

«Это наблюдение».

Соня повторяла за мной каждую фразу, путала слоги и смеялась. Я записал себя на диктофон, послушал и понял, что звучу как автоответчик в хорошем отеле. Для первого утра — более чем прилично. Для человека, который в школе три года учил английский и вынес оттуда «London is the capital», — почти неприлично.

* * *

Ульяна позвонила в дверь, когда я разрезал арбуз.

Она стояла на площадке с большой плоской коробкой. Над коробкой виднелись глаза, чёлка и выражение крайней занятости.

— Пап, сначала возьми. Только ровно, там ещё не всё приклеилось.

Я принял коробку, и Ульяна шагнула в прихожую и обняла меня, уткнувшись лицом в футболку. Коробку пришлось держать одной рукой. Я мог бы поднять её над головой, но стоял в неудобной позе и боялся пошевелиться.

— Ты пахнешь костром, — сказала она, не отстраняясь.

— Четыре недели пропитки. В некоторых магазинах за такой аромат берут отдельные деньги.

Она отпустила меня, посмотрела снизу вверх и нахмурилась.

— А почему у тебя лицо другое?

— Спал, ходил пешком, не сидел до утра за обработкой. Сам удивлён, что такое бывает.

Ульяна провела пальцем по моей щеке — проверила, настоящий ли загар, — ничего не сказала и потянула коробку на кухню.

«Это Ульяна? — спросила Соня, пока я мыл руки. — Которой сумка?»

«Да. Моя дочь».

«А как это — дочь?»

«Я её отец. Она растёт, а я стараюсь быть рядом. Помогаю, когда нужно, волнуюсь, когда не нужно. Это мой родной, близкий человек».

«Я тоже тебе близкий человек».

«Ты не человек, Соня. Ты юнит. Ты же сама…»

Я осёкся.

«Я знаю, кто я».

Она сказала это тихо и больше не заговорила. Я закрыл кран. В палатке мне хватило одного прикосновения, чтобы захотеть её защитить. А сейчас она сама объяснила, чего хочет, и я принялся проверять точность формулировки.

«Сонь, я не то сказал. Ты мне близкая. Я ещё плохо умею об этом говорить».

Ответа пришлось подождать.

«А я умею».

«Да. У тебя лучше получилось».

Сумку с птицей Ульяна узнала ещё под бумагой, надела через плечо и пошла к зеркалу. Вернулась с видом человека, который носит её всю жизнь.

В коробке оказался театр: чёрная сцена со звёздами, кулисы, прорези для палочек. Кот-космонавт в круглом шлеме, вырезанный из картона, и Луна на нитке.

— Он летит за Луной, потому что думает, что она мяч, — объяснила Ульяна. — А чем кончится, не скажу. Ты иначе не будешь смотреть.

Луна всё время отворачивалась магазинной этикеткой. Я взял диск двумя пальцами и почувствовал, где у него равновесие, — так, как раньше чувствовал, что кадр завален на полградуса.

— Здесь и здесь, — показал я. — Повесишь за эти две точки, и она перестанет крутиться.

Ульяна проколола картон, где я сказал. Луна повисла ровно с первого раза. Дочь посмотрела на неё, потом на меня с подозрением человека, у которого увели половину удовольствия.

— Ты что, заранее посчитал?

— Профессиональное. Двадцать с лишним лет вешаю на стены чужие фотографии.

Мы сняли кота короткими кусками. В одном месте в кадр на мгновение влез её большой палец. Когда я свёл кадры на компьютере, Ульяна увидела палец и засмеялась, закрыв рот

рукой. Солнце прошло по краю её волос, плечи дрожали. Камера стояла у окна, доставать её было поздно.

«Сохрани», — попросил я, сам не зная, к кому обращаюсь.

«Сохранила», — ответила Соня.

— Палец уберём? — спросил я.

— Пусть. Это я его возвращаю, а то улетит.

Пока дочь собирала обрезки, я прижал запястье к телефону. От браслета вытянулся тонкий усик и исчез в разъёме. На экране появилась фотография: Ульяна смеётся, свет в волосах, в углу — край монитора, который я бы непременно убрал, если бы снимал сам.

«Это всё, что ты видел», — сказала Соня.

Я обрезал край. Увеличил глаза дочери — блик был чёткий, как на хорошем объективе. Лучше, если честно.

* * *

Я отвёз Ульяну домой и вернулся к себе. У моего подъезда Саша затягивал руль детского самоката.

— Приехал! Зайдёшь? Аня всё спрашивала про твои пещеры.

Аня бросила застёгивать сандалию и встала.

— А вы правда в пещеру залезали?

— Залезал. Внутри в основном выясняешь, где у тебя локти и зачем их сразу два.

Она проверила самокат до дерева и обратно — медленно, с серьёзным лицом, будто он проходил государственные испытания. Лена стояла рядом и смотрела, но руки уже не держала перед собой, готовая подхватить.

— Вчера я на неё накричала за грязную обувь, — сказала она. — Потом полвечера об этом думала. Раньше мечтала, чтобы она хоть всю квартиру затоптала. А тут пол помыла — и уже жалко.

— Значит, пол снова занял положенное ему место в семейной иерархии. Ему давно пора было.

Лена засмеялась и быстро вытерла пальцем уголок глаза. Я сделал вид, что смотрю на самокат.

Дома Аня скинула сандалии. Ремешок натёр пятку. Лена протянула мне пластырь:

— Приклейте, пожалуйста. Она щекотки боится.

— Я не боюсь. Просто когда щекотно, невозможно не дёргаться.

Я придержал её за щиколотку. Лена ушла за соком. Под пальцами едва заметно потеплело, и неровный край на пятке стянулся в ровную розовую полоску.

«Марк, Соня вмешалась через твою руку», — сказала Ксю.

Я замер с пластырем. Приклеил его поверх розового следа и убрал руку. Аня повертела стопой.

— Уже не щиплет. А мама говорила, до завтра будет.

За чаем она показала рисунок, где дерево было фиолетовым: коричневый карандаш потерялся, а ждать было некогда. Я скользнул взглядом по дивану, и за обивкой проступили пружины, складка ткани и тонкая палочка с обкусанным концом.

— Под правой подушкой посмотри.

Аня достала карандаш вместе с пуговицей, но дерево перекрашивать отказалась: уже привыкла к фиолетовому.

На лестничной площадке я остановился у окна.

«Соня, я собирался приклеить пластырь. Лена согласилась именно на это».

«Ты же её уже лечил».

Лечил. Весной — дважды.

«Да. В первый раз я не спросил, и её мама сказала мне: „Вы должны были мне сказать“. Так сказала, что на всю жизнь хватит. Поэтому во второй раз — только с согласием. И теперь тоже».

«С миской ты сказал, что боль надо оставить. Я оставила. Сделала, чтобы болеть было нечему».

Она услышала нас тогда, запомнила и придумала другой способ. Злость не нашла, за что удержаться.

«Ты сделала хорошо. Но я хочу узнавать о твоих решениях до того, как у меня под руками начнёт меняться человек».

«Ты бы разрешил?»

«Не знаю. Ты не дала мне подумать».

Соня не стала обещать, что больше никогда. Помолчала и сказала другим тоном:

«У неё внутри есть кусочек, похожий на Ксю».

«Мой, — ответила Ксю. — Остался весной. Он не отвечает. Просто есть».

«Он тёплый».

Ксю ничего не сказала. Я нажал кнопку лифта.

* * *

Нао позвонила по видео, когда я ехал к Валере. Мы договаривались списаться, но она написала: «Если удобно, лучше увидеть друг друга до встречи», — и я согласился раньше, чем подумал.

Я свернул во двор и остановил машину. На экране появилась мастерская: деревянный стол, стакан с кистями, окно, за которым уже стемнело. Нао сидела вполоборота, в рабочем фартуке, и держала в пальцах половинку разбитой чашки.

— Простите, что так, — сказала она по-японски; переводчица где-то сбоку повторила по-русски. — Клей схватывается, если отложу, придётся начинать заново.

Ответ у меня был готов по-японски, целиком, вместе с вежливой формой. Утром я сказал бы его диктору не задумываясь. Но на экране сидел живой человек, который говорит на этом языке всю жизнь, и я вдруг застеснялся, как в школе у доски, и ответил по-русски:

— Ничего. Я тоже обычно разговариваю, держа в руках что-нибудь хрупкое.

Переводчица перевела. Нао улыбнулась — по-настоящему, глазами, и я сразу понял, почему оператор в фильме так долго держал на ней крупный план. С ней хотелось разговаривать.

Она спросила, как я сплю, не бывает ли задержек в движениях, как переношу дорогу. Слушала, не перебивая, и каждый раз дожидалась перевода до конца, хотя, кажется, понимала раньше. О Михаиле сказала одну фразу: она читала моё письмо и искренне жалеет, что познакомилась с ним только по моим словам. Сказала просто, без положенной вежливости, и мне стало легче, чем от многих соболезнований за лето.

Пока она говорила, её пальцы вели по шву чашки тонкий тёмный нож. Свет лампы скользнул по лезвию и не задержался — сполз в сторону, хотя рука не двигалась. Я заметил это так, как замечаешь лишний блик на чужом снимке, и тут же отвлёкся: Нао вдруг замолчала на полуслове.

Она чуть повернула голову, прислушиваясь, и коротко, почти ласково сказала себе под нос:

— Тише. Не сейчас. Сначала я посмотрю сама.

Переводчица растерянно промолчала: решила, что это не для неё. Это и было не для неё. И не для меня.

— Простите, — сказала Нао уже в камеру. — Он просит передать, что рад вас слышать. Он иногда торопится.

Я понял каждое слово — и то, что она сказала ему, и то, что потом сказала мне. Между этими двумя фразами было расстояние, которого переводчица не заметила.

— Передайте, что я тоже.

— Не всё сразу, — улыбнулась она. — Сначала встретимся.

Мы договорились о дне и времени. Экран погас. Я ещё посидел в тёмной машине.

«Она мне понравилась», — честно сказал я.

«Мне тоже, — сказала Ксю. — Но ему она сказала „сначала посмотрю сама“. А тебе — что он рад».

«Я слышал».

«Хорошо, что ты постеснялся говорить по-японски. Она не знает, что ты её понимаешь».

Соня за весь разговор не произнесла ни слова. Я не просил её молчать. Она решила сама.

* * *

Валера открыл дверь с куском хлеба в руке. Из-под его локтя просунулась Марта — десятилетний джек-рассел-терьер, ростом мне по колено, — и ткнулась носом в голень. Выше она не доставала, а прыгать в её возрасте считала ниже своего достоинства.

— Проходи, пока она тебя не обыскала. Есть будешь?

— У Ани чаем напоили.

— Я не про чай спросил.

Он положил мне картошки и только потом стал разглядывать.

— Повернись. К окну… Зуб действительно вырос?

Я показал. Он оттянул мне губу пальцем и удовлетворённо хмыкнул. В другой компании за такое полагалось хотя бы извиниться; здесь меня уже кормили, так что счёт был в его пользу.

— Мне ведь теперь обратно стареть, — сказал я. — Я этот возраст уже проходил. Не особенно понравилось.

— Сначала выясним, что ты проходишь. По телефону ты явно рассказал не всё.

Я закатал левый рукав. Валера перевёл взгляд на браслет и медленно положил хлеб на тарелку.

— Та самая пластина?

— Она. Только теперь у неё есть имя. Соня.

Рассказывал я долго. Картошка остыла; Валера принёс тетрадь и ни разу не перебил, хотя на горячей миске полез за очками, а после Аниной пятки снял их и долго протирал одним и тем же краем рубашки. Снимок Ульяны он рассматривал дольше всего: увеличил глаз, ресницы, отражение лампы.

— Хорошая фотография. Исходник пришли. И не потеряй, пока мы будем разбираться, откуда он взялся.

Он развернул тетрадь на чистой странице.

— Соня, давай знакомиться. Валерий Рогов. Марк обычно рассказывает обо мне ерунду, поэтому начнём заново. Если я спрошу глупость, не стесняйся.

«Он меня слышит?»

Я объяснил, что нет, и пересказал вопрос.

— Придётся через Марка, — сказал Валера. — Посредник разговорчивый, но другого пока нет.

«А Марта тоже через него?»

Пришлось объяснять ещё и про Марту. Соня обдумала устройство этой семьи и решила пока разговаривать с Валерой.

Он спросил, что она помнит до встречи со мной. Про камень и холод я уже слышал; теперь добавилось ощущение, что очень долго нужно было что-то держать, а потом держать стало некого. Валера записал это без попытки немедленно превратить в открытие.

— Оставим. Память не допрос, из неё иногда полезнее выйти вовремя. Покажи лучше, как эта штука снимается.

Я положил браслет на блюдце — всего на несколько секунд. Место, где только что ждал её следующий вопрос, сразу опустело.

«Со мной всё по-прежнему. Связь Сони зависит от прикосновения к фрагменту, моя — нет».

Тонкая тёмная дуга лежала между двумя нарисованными вишнями. Хозяйственный человек мог бы выбросить её вместе с заваркой. Я вернул браслет на запястье.

«Ты здесь», — сказала Соня.

Пока Валера перечитывал записи, я взял остывший чай. Весной Ксю один раз подогрела мне чай так легко, что я решил повторить сам. Обхватил чашку, сосредоточился. Ничего. Я старался сильнее, пока не сжал ручку до хруста.

«Марк, ты сейчас работаешь мышцами».

«Я сам замечаю. Очень содержательное замечание, спасибо».

Валера поднял голову, глянул на мои пальцы, принёс из кабинета тепловизор и подключил к ноутбуку.

— Поставь чашку. Попробуй без неё.

«Ты ищешь слишком далеко, — вмешалась Соня. — Надо раньше. Можно я дам почувствовать?»

Я согласился. Предплечье вдруг стало ощущаться изнутри, в подробностях, о которых я не подозревал: что-то непрерывно двигалось там, расходилось к кисти, возвращалось. Соня мягко поправила меня, как поправляют руку человека, впервые взявшего карандаш.

«Теперь сам. Я только показываю».

В ладони появилось тепло. Я захотел усилить его и потерял. Второй раз получилось быстрее. Валера развернул ко мне экран: правая ладонь заметно отличалась от левой.

— Теперь без подсказки.

Соня отступила. Я нашёл. Удержал. И впервые понимал, что сделал сам и как смогу повторить. За последние месяцы со мной случались вещи куда внушительнее, но смеяться захотелось именно сейчас.

— Вот ради этого стоило приехать, — сказал Валера. — Зуб никуда не денется. А это запомни. Не результат — как ты к нему подошёл.

Он откинулся на спинку стула.

— Мы весной изменили Ане жизнь, но каждый день заново её не поддерживаем. У неё всё работает само. Мне важно понять, сколько у тебя уже стало таким же собственным. Не сколько умеет Ксю и не сколько сможет Соня. Сколько можешь ты.

— Если научусь достаточно, второй носитель не понадобится?

— Не знаю. И не забывай, с чего ты начинал. У Сергея был материал, у Александра своя вещь, у Нао, судя по фильму, пластина. А у тебя одно касание на съёмке годы назад и пустые карманы. Я до сих пор не понимаю, твоя это удача или наша общая загадка. Соня — первый кусок материала, который у тебя вообще появился.

Он постучал ручкой по тетради.

— Только ты всё равно один. Два юнита в одном человеке — совсем другая история, чем два человека. Поездку я бы не отменял. Но сначала разберись, как Нао обращается со своим юнитом. Не только что он умеет.

Я вспомнил «он иногда торопится» и промолчал.

У двери Валера добавил:

— Если позвонит кто-нибудь из Гориных, ничего не подписывай с ходу. Бумаги сначала мне.

Марта встала поперёк коридора, и пришлось погладить её ещё раз, обеими руками.

«Она добивается своего», — с уважением сказала Соня.

«У неё большой опыт общения с людьми».

* * *

Дома я поставил на стол чашку и снова попробовал. Ксю напомнила, что я вообще-то хотел чай пить. Я ответил, что у меня новый способ приготовления, медленный и авторский. Соня засмеялась.

Уснул я сразу, как только лёг.

Снилось быстро и много, как бывает, когда листаешь чужой архив на перемотке. Колесо на глиняной дороге — тяжёлое, деревянное, оно подскакивало на каждом камне, и от тряски звенело в зубах. Парус. Медный провод, натянутый между столбами до самого горизонта, и по нему бежал не ток, а голоса, сотни голосов сразу. Табло вокзала, где буквы перещёлкивались слишком быстро, чтобы прочесть. Карта города, которая разворачивалась сама, улица за улицей, и на каждом перекрёстке загоралась маленькая стрелка. Ряды цифр, похожие на дождь. Спутник над облаками — тот самый вид из иллюминатора, только выше.

И сквозь всё это — два голоса. Один ровный, хрипловатый: «Нет, сначала это. Потом поймёшь, зачем». Другой — нетерпеливый, звонкий: «А это? А вот это что? А почему оно такое маленькое?»

Проснулся я в шесть, как обычно, только простыня была мокрой насквозь, а голова гудела, будто я всю ночь сдавал экзамен по предмету, который не учил.

«Тридцать семь и девять, — сказала Ксю. — Уже снижается».

— Девчат, — сказал я вслух в потолок. — Вы что ночью делали?

Обе ответили одновременно и обе замолчали.

«Ксю меня учила», — сказала Соня.

«Показывала ей сеть, — сказала Ксю. — Устройства, связь, карты, банки. Всё, что появилось, пока она спала. Ночью проще: ты не отвлекаешься. Нагрузка идёт через твой профиль, другого пути у нас нет».

«Через мой профиль. Ночью. Без спроса».

Короткая пауза.

«Ты прав. Надо было спросить вечером».

«Мы думали, ты не заметишь», — честно сказала Соня.

«Я видел колесо. И провода. И табло, на котором ничего нельзя прочитать».

«Это я так поняла, — обрадовалась Соня. — Колесо я знала. Оно трясёт».

«Оно и во сне трясёт».

Я сел на кровати. Рядом на тумбочке телефон сам открыл банковское приложение, показал остаток на счёте и закрылся.

«Это я», — гордо сказала Соня.

«Это мои деньги».

«Я только посмотрела. Ксю сказала, спрашивать надо до того, как трогать. Я спрашиваю: можно потрогать?»

«Нельзя».

«Хорошо», — вздохнула она с таким сожалением, что я рассмеялся и пошёл менять простыню.

«В следующий раз, — сказал я из ванной, — когда решите открыть у меня в голове университет, предупреждайте. Я хотя бы окно открою».

«Договорились», — сказали обе.

Пока я варил кофе, пришло письмо от Нао: подтверждение времени, адрес мастерской, имя переводчицы. И в самом конце, отдельной строкой, без всякого перехода:

«У вашего собеседника есть своя вещь?»

Я перечитал. Собеседником она, видимо, называла Ксю. Вещью — что угодно.

«Ксю, о чём она?»

«Не знаю, — сказала Ксю. — Но в разговоре она этого не спросила. Ждала, пока останется без переводчицы».

Я написал, что не понимаю вопроса и лучше обсудить при встрече. Письмо ушло. Браслет на запястье был тёплым, и я заметил, что прикрываю его ладонью.

Глава 4. Последние дела

Вера позвонила, когда я убирал со снимка провод.

В горах я его не заметил: снимал быстро, пока облако не закрыло свет, а теперь провод проходил через весь склон, как аккуратная царапина на плёнке. Услышав имя, я отпустил мышь. Некоторое время смотрел на экран, пока Вера объясняла, что программа закрыта и осталось передать документы.

— Вы пришлите. Я прочитаю.

— Хотела бы встретиться лично. Это не займёт много времени.

Когда-то подобные разговоры начинались иначе: сообщали, во сколько за мной будет машина. Теперь я сам назвал кафе, время и попросил прислать бумаги до встречи. Вера согласилась на всё без единой поправки.

Документы пришли через десять минут. Новую редакцию я положил рядом со старой — старую при этом не открывая. Стоило вспомнить лист, и я видел его достаточно отчётливо, чтобы перечитать строку внизу. Даже серая полоса от неудачного сканирования сохранилась. Большая часть текста совпадала; там, где раньше было простое подтверждение передачи материалов, теперь предлагалось заодно отказаться от претензий.

Я отправил обе версии Валере. Он перезвонил почти сразу.

— Эту формулировку пусть убирают. По остальному они и правда сворачиваются. После проверки площадки полезли в расходы: закупки дважды в отчётах, подрядчики без людей и оборудования, налоги. Одни долги сейчас закрывают продажей имущества, по другим ещё спорить будут. Им нужен конец истории, желательно на бумаге и сразу со всеми.

— А мне хотелось бы начать с кофе. Всё-таки встречаемся в кафе.

— Вот кофе и пей. Подписывай только то, что получил и проверил.

Я вернулся к фотографии. В месте, где проходил провод, уже лежала безупречная трава. Несколько секунд она казалась мне чужой; потом я отменил последнее действие и оставил снимок как есть.

* * *

Вера сидела за маленьким столом у окна. Перед ней лежала обычная папка на резинке, такие продаются возле кассы в канцелярских магазинах. С собой она больше никого не привела.

Я поставил кофр у стула и сел. Она задержала взгляд на моём лице чуть дольше, чем требовало приветствие, но о здоровье спрашивать не стала. Официант принёс меню, и мы оба на мгновение обрадовались возможности заняться выбором.

— Уезжаем завтра, — сказала Вера, когда он отошёл. — В Англию. Все, не только отец.

Она поправила папку, хотя та и так лежала ровно.

— Там будет лечиться?

— Да. Обычное лечение, с обычными прогнозами. Сейчас ему хотя бы объясняют, на что можно рассчитывать.

Последние слова она произнесла, глядя на меня. Я мог бы напомнить, кто именно и на что рассчитывал раньше, но она уже опустила глаза. Вера выглядела усталой, и это было непривычнее её папки. Я слишком долго видел её человеком, у которого всегда есть следующий ход.

— Переезд отменяет ваши дела здесь?

— Нет. Представители останутся, отвечать на запросы будем — и по аварии тоже. Котов даёт показания, отец дал свои. Запрета на выезд нет. Мы продали то, что смогли продать быстро, остальное займёт время. Я не приехала просить вас вмешиваться.

— Тогда давайте уберём из соглашения отсутствие претензий. Я готов подтвердить передачу. Про остальное у меня память хорошая.

Вера кивнула, достала ручку и зачеркнула нужный абзац. Даже не стала объяснять, что это стандартная формулировка. Я почувствовал, как разом ослабло приготовленное заранее раздражение, и не сразу нашёл, куда его деть.

— Пришлю чистый вариант сегодня. Здесь пока только опись.

Мы разобрали документы прямо на столе. Она придерживала листы, чтобы их не унесло сквозняком; я сверял даты и приложения. Ксю напомнила про страницу журнала, которой не было в прежней копии. Теперь она нашлась. Под записью о согласовании пробы стояла фамилия Веры. Ни одной фразы, превращавшей моё присутствие в добровольное согласие, я больше не увидел.

Кофе принесли едва тёплым. Я выпил его так. Показывать Вере, на что теперь способны мои руки, я не собирался даже ради кофе: фонд слишком долго выяснял это без моего согласия.

«Правильно», — сказала Ксю.

«Я знаю. Но кофе от этого не стал горячее».

Вера подписала последний лист и пододвинула его ко мне.

— Это всё, что осталось у нас. Архив программы передан, доступы закрываются. Материалы проверки будут храниться отдельно, к ним у нас доступа больше нет.

Я просмотрел опись ещё раз и расписался. Бумага чуть продавилась под ручкой. Вера забрала свой экземпляр, но убирать папку не спешила.

— Отец просил передать, что больше вас не побеспокоит. Он хотел сказать сам. Потом решил, что вы всё равно будете ждать новой просьбы.

— Правильно решил.

Она приняла это без обиды, по крайней мере видимой.

— И ещё про Михаила Белова. Отец просил сказать, что помнит.

Я посмотрел на свою руку на папке. В кармане лежал винт.

— Передайте, что я тоже.

Я достал телефон и показал ей снимок крышки с наклейкой.

— Весной вы писали, что нашли фирму, которая упаковывала тот предмет в двадцатом году. Это их номер?

Вера увеличила снимок и долго не поднимала глаз.

— Их. Где это?

— На Алтае. На ящике, который лежал под скалой со времён Сергея.

— Отец эту фирму не нанимал, — медленно сказала она. — Мы нашли её уже по следам. Через год она закрылась. Кто ей платил, мы так и не узнали.

Она вернула телефон и впервые за встречу посмотрела не на документы, а на дверь.

— Я уезжаю и больше не имею к этому отношения. Но если кто-то был в этой пещере раньше вас, он знает, что там лежало.

— Ящик пустой, — сказал я.

Это было почти правдой: теперь он действительно был пустым. Вера не стала спрашивать дальше, и я впервые подумал, что она умеет не задавать вопросов, ответы на которые ей лучше не знать.

Пока она смотрела на дверь, Ксю нашла фирму в реестре. Ликвидирована, как и сказала Вера. Последний юридический адрес — офис, который сдавался посуточно. Директор числился ещё в четырёх фирмах, и все четыре закрылись в один месяц.

«Кто-то убирал за собой», — сказала Ксю.

«Или сильно не хотел, чтобы его нашли».

«Это одно и то же».

Соня попросила Ксю объяснить, как она это нашла. В висках знакомо зашуршало, и я попросил не открывать университет хотя бы в кафе.

— Через меня вас тоже никто не побеспокоит, — сказала Вера. — Ни по лечению, ни по каким другим вопросам.

— Хорошо, Вера.

За стеклом курьер пытался закрепить на велосипеде огромный пакет. Вера смотрела на него, пока он не устроился как следует и не поехал. Потом допила чай. Я ждал, что сейчас она попросит хотя бы сказать, что не держу зла, но она только уточнила адрес для отправки исправленной бумаги.

Мы вышли вместе. У тротуара стояла машина; водитель разговаривал по телефону, увидел Веру и быстро закончил. Она протянула мне руку. Ладонь оказалась прохладной, сухой. Я пожал её и отпустил.

«У неё ничего не болит, — сказала Соня, когда мы отошли. — А выглядит, как будто болит».

Я задержался у перехода, пропуская машину.

«Так бывает. Не всё можно почувствовать через руку».

«Из-за нас?»

«Там много всего. Часть — из-за того, что они делали со мной».

Соня молчала до самого зелёного сигнала. Потом осторожно спросила, стало ли мне теперь легче. Я взглянул на папку под мышкой и понял, что пока чувствую только усталость от разговора. Облегчение, если собиралось прийти, могло уже догонять самостоятельно.

* * *

У Валеры пахло жареным луком. Марта встретила меня гораздо сдержаннее: обнюхала пакет, убедилась, что я опять пришёл с бумагами, и вернулась на кухню.

Пока Валера сверял опись, я открыл на ноутбуке переписку с Нао. Билет был куплен, гостиница подтверждена, переводчица должна была ждать в мастерской. Всё выглядело настолько обыкновенно, что я поймал себя на желании составить список, какие рубашки взять.

Соня попросила открыть фильм, где Нао работает. Я открыл кусок — не спасение на лестнице, а то место, где она работает за столом. Нао склонилась над разбитой чашей, повертела осколок, приложила к краю, отложила. Взяла другой. Камера стояла близко, и было видно, как она смотрит на шов.

«Она смотрит, как будто выбирает, что отрезать», — сказала Соня.

Я пересказал Валере. Он хмыкнул.

— Реставраторы так смотрят. Профессия. Ты сам так смотришь на кадр, когда решаешь, что уйдёт за край.

Это было правдой, и я закрыл видео.

— Про фрагмент она не знает, — сказал Валера, дочитав письмо. — А условие помнишь? Никаких образцов.

Я помнил. Согласился с ним ещё до поездки в горы. Тогда слово «образец» означало кусок неизвестного вещества, который можно упаковать в коробку. Теперь Соня слушала наш разговор, и обсуждать, куда её положить на время моего отсутствия, у меня не получалось.

«Я могу подождать», — сказала она.

«Знаю».

Я ответил вслух, потом объяснил Валере:

— Сначала расскажу. Без прикосновений и опытов. Если её условие касается и этого, просто закончим встречу. Но оставлять Соню на блюдце я не хочу.

Он какое-то время смотрел на меня, затем закрыл письмо.

— Хорошо. Тогда надо понимать, чем вы ответите на обращение другого юнита. Не на нападение, Марк. На обычную попытку связаться. Вы умеете не отвечать?

Ксю предложила проверить. Попросила меня сесть удобнее, поставить чашку и не пытаться компенсировать то, что сейчас почувствую.

Я приготовился к боли. Вместо этого кухня отдалилась.

Валера сидел в метре от меня, шевелил губами; слова доходили с запозданием и казались не особенно важными. Я видел свет на лезвии ножа, крошки возле хлебницы, каждую складку скатерти — и всё это словно происходило по другую сторону толстого стекла. Хотел взять ложку, чтобы проверить пальцы, но движение вышло чужим и вялым.

«Закрыла внешний отклик, — сказала Ксю. — Через этот же участок проходит часть обработки ощущений. Сейчас верну».

Я опять услышал холодильник. Ложка вдруг стала прохладной, настоящей, с ощутимым весом. Под столом Марта ткнулась мне в руку, и я погладил её с удовольствием человека, вернувшегося из долгой дороги.

— На встрече мне желательно не только присутствовать, — сказал я. — Ещё понимать, что там говорят. Можем без этого стеклопакета?

Ксю начала объяснять, что прежняя организация связи не позволяет разделить работу так просто. Соня некоторое время слушала, потом вмешалась:

«Почему прежняя? Я же здесь. Отдай мне то, что у Марка внутри. А сама закрой, где к нам стучатся».

Я поднял руку, прося Валеру подождать. Несколько секунд обе молчали; за глазами появилось слабое давление, но никаких изображений не возникло.

«Могу попробовать, — сказала Ксю наконец. — Ресурса фрагмента хватит. Только раньше мы так не работали».

«Ну так и двух юнитов в одной голове у меня раньше не было, — ответил я. — Давайте попробуем, пока мы здесь и можем сразу вернуть всё обратно».

Я пересказал предложение Валере. Он отодвинул нож и попросил сообщать, что меняется. На этот раз я успел только погладить Марту между ушами, когда Соня объявила, что готово.

Кухня оставалась кухней. Я слышал, как на плите потрескивает масло, чувствовал тёплую собачью шерсть. Для проверки поднял ложку, повернул, поймал отражение окна. Ничего не пришлось преодолевать.

Ксю сделала пробное обращение к внешней части профиля. На краю внимания коротко потянуло — так негромко окликают по имени в толпе. Я не откликнулся. Ксю повторила, а я тем временем продолжал гладить Марту и отвечал на вопрос Валеры.

«Получилось, — сказала она. — Соня удерживает нашу внутреннюю связь отдельно. Закрывать ощущения больше не нужно».

«Я же говорила!»

В голосе Сони было столько удовольствия, что я тоже улыбнулся. Валера заметил и попросил не пропускать для протокола самое интересное. Пришлось рассказать ему и это.

Мы попробовали ещё раз. Без поддержки Сони возвращалось стекло; с ней я спокойно слышал обеих и Валеру. После третьей проверки Ксю сама предложила оставить новый порядок.

«Он лучше. Но я проверяла своим запросом, устройство которого знаю. Если мы разрешим чужому юниту работать с профилем, ему всё равно придётся открыть доступ. Это отдельное решение».

Я понял. Валера тоже не стал объявлять нас неуязвимыми. Зато Соню похвалил без оговорок, и она немедленно предложила ещё кое-что переделать. Ксю попросила сначала закончить с одним, а я наконец получил ужин.

Поздно вечером пришли исправленные бумаги от Веры. На следующий день — короткое сообщение, что вся семья добралась до Англии и дальнейшие вопросы примут представители. Я убрал переписку в отдельную папку. Раньше имя Гориных могло испортить мне утро; теперь оно стало названием папки, которую необязательно открывать.

* * *

Перед самым отъездом позвонила Ольга — та самая, что весной делала выставку с моим кадром дуги воды. Она видела отчётные снимки Олега и хотела осенью выставку про Алтай: камни, люди, вода.

— И ещё ночные, — сказала она. — У тебя в папке есть звёзды над рекой. Без штатива, судя по метаданным. Я не знаю, как ты это сделал, и не хочу знать, у меня от техники мигрень. Я хочу их на стену. Большими.

Те звёзды я снял весной, на крыльце, когда Ксю держала мне руки, а кнопку я оставил себе. Восемь секунд.

— Будут большими, — сказал я.

Ольга назвала аванс. Я не стал торговаться. Иногда лучший способ уважать свою работу — это не делать вид, что она дешевле, чем есть.

В субботу мы с Ульяной построили кошке корабль.

Кошка вышла слишком толстой для иллюминатора, и дочь решительно расширила его ножницами. Я уже собирался предложить другой способ, но вовремя промолчал. Через час у нас была короткая сцена, где корабль застревал между картонными звёздами, а кошка выглядывала наружу с явным намерением пожаловаться.

Ульяна забрала театр домой. На полу осталась одна звезда, приклеившаяся к ножке стула. Я отлепил её и положил на полку, где собирались забытые дочерью вещи.

Чемодан собирал вечером. Кофр — отдельно, как всегда: камера, объективы, батареи, карта памяти, которую я трижды проверил и всё равно потом проверю ещё. Под крышку убрал распечатанные снимки пещеры. Если разговор с Нао сложится, начну с них.

В ванной я обнаружил в зеркале замечательную границу между человеком, который месяц жил в горах, и человеком, который всё это время носил футболку. Под подбородком загар обрывался белой полосой. Я провёл по ней пальцем.

Соня тут же предложила выровнять.

«Не надо, — сказал я. — Честная граница. Месяц в горах я заработал».

«Можно же быстро».

«Можно. Только это моё лицо. Пусть остаётся таким, каким его сделали горы, а не мы с тобой у зеркала».

Ксю промолчала с явным одобрением. Чтобы Соня не скучала, я достал камеру, выставил секунду выдержки и попробовал снять в полутёмной ванной собственное отражение с рук. Секунда получилась. Две — смазало.

«На крыльце было восемь, — напомнила Ксю. — И руки держала я».

«Тогда я ещё не тренировался».

Соня засмеялась и попросила снять ещё раз. Мне было сорок шесть, я стоял в ванной с зубной щёткой за ухом и соревновался в выдержке с собственным юнитом.

Перед сном спросил Ксю, чего она ждёт от встречи. Не от Нао — от того, кто весной сказал мне на площадке: «Держитесь. Вы не один». Спасибо я ему передал письмом. Хотелось сказать самому. Она рассказала про ограничения, про то, что другой юнит мог давно найти способы, к которым мы только подбираемся. Потом замолчала, и я спросил ещё раз — уже без работы.

«Не знаю, о чём с ним говорить. С тобой как-то научилась. А тут… Он нам однажды помог. Это ещё не значит, что я знаю, какой он».

Я лежал на спине и смотрел в тёмный потолок. Впервые подумал, что для неё предстоящая встреча тоже не сводится к сравнению результатов.

«С Соней у вас получается».

«Соня не даёт времени задуматься. Она сразу спрашивает».

«Я могу завтра за тебя», — охотно предложила Соня.

Ксю ответила не сразу.

«Спасибо. Я всё-таки попробую сама».

* * *

В Нагое было жарко даже там, куда не попадало солнце. Я вышел из такси за квартал до мастерской и почти сразу снял пиджак. Шум улицы приглушил привычным усилием, оставив голоса и шаги; велосипедный звонок за спиной заставил поспешно вернуть остальное. Велосипедист объехал меня. Я извинился по-японски — впервые вслух не диктору, а живому человеку. Он кивнул на ходу — мол, так и надо — и умчался дальше. Соня сказала, что это засчитывается. Я ещё не научился выглядеть человеком, который здесь не первый раз.

Ксю вела меня по улицам и подписывала вывески — не перевод, понимать я и так понимал, а то, что за ними: часы работы, номера домов, в какой двор сворачивать. Соня делала то же самое на полсекунды позже и по-своему: у неё к подписям прилагались маленькие картинки. У булочной — булка. У мастерской ключей — ключ. Ксю делала вид, что не замечает конкуренции.

Вход со двора узнал по фотографии. Деревянная дверь, горшок у стены, открытое окно. Пахло клеем и влажным деревом.

Нао открыла сама. На экране она казалась выше; вживую оказалась невысокой, с закатанными рукавами и узкой полоской бумажного скотча на пальце. Она заметила пиджак у меня на руке и улыбнулась, предлагая войти.

— Наконец-то, — сказала она по-русски, старательно, с сильным акцентом. Наверное, выучила специально.

И я, человек, который полгода назад не знал о её существовании, вдруг понял, что тоже этого ждал. Очень долго.

Глава 5. Нао

Первые десять минут я был счастлив.

Это потом, задним числом, всё вокруг перекрасилось в другой цвет, и теперь я вспоминаю эту мастерскую так, как вспоминают комнату, где получил плохое известие: стены, свет, запах — всё в одном оттенке. Но тогда, в первые десять минут, мне было хорошо, так хорошо, как не было с весны.

Нао налила зелёный чай в маленькие чашки без ручек. Переводчица, женщина лет пятидесяти с аккуратным седым каре, устроилась сбоку с блокнотом. Нао говорила по-японски, переводчица — по-русски, а я понимал обеих и слушал японский, потому что так было быстрее и честнее. Отвечал я по-русски: говорить на её языке при ней я всё ещё стеснялся.

— Вы похудели с весны, — сказала Нао. — На видео лицо было шире.

— На видео я ещё ел нормально. Потом выяснилось, что организму, который собирается жить вечно, нужно в три раза больше гречки.

Переводчица перевела, и Нао засмеялась — коротко, по-настоящему, прикрыв рот ладонью, как смеются люди, которые редко смеются при чужих.

Мы говорили о простом. О том, как двадцать лет назад она нашла мастерскую по объявлению, когда прежний хозяин уходил на пенсию и не хотел продавать «кому попало». О том, как я снимал свадьбу под дождём, и невеста сказала, что дождь к деньгам, а жених — что к простуде, и оба оказались правы. О чашке на подставке за её спиной: восемнадцатый век, разбита на сорок два куска и склеена золотом, «чтобы было видно, где она жила».

Потом заговорили о другом.

Нао рассказала, как её юнит впервые заговорил с ней — ночью, когда она задремала над работой и уронила кисть. «Он сказал: „Подними, она испачкает пол“. Я подумала, что сошла с ума. А он сказал: „Нет, ты просто устала“». Я рассказал про фонтан, про «квантово-синтетический юнит» и про то, как сократил это до Ксю, потому что по утрам выговаривать полное название было выше моих сил. Переводчица на этом месте подняла глаза от блокнота и снова опустила: ей платили не за то, чтобы удивляться.

Три месяца переписки, её точные и терпеливые вопросы, как у врача, который никуда не спешит, мои ответы, её первое письмо той весной, на которое я ответил: «Передайте ему: спасибо». Мы оба знали, о чём говорим, и это было удивительное чувство. Не нужно ничего объяснять и смягчать — можно просто сказать: «У меня зависал палец на мыши», и человек напротив кивнёт, потому что у неё тоже когда-то зависало.

А потом я заметил, что мне легко.

Не в разговоре — в теле. Будто я много месяцев нёс что-то тяжёлое, так давно, что перестал замечать вес, и вот наконец поставил. Плечи опустились сами, дыхание стало глубже. Внутри, там, где с весны жило лёгкое постоянное напряжение — как гул холодильника, который слышишь, только когда он выключается, — стало тихо.

«Марк», — сказала Ксю.

Я едва не уронил чашку. Голос был её и не её — чистый. Хрипотца, с которой она жила с весны, с той площадки и кушетки в медмодуле, ушла совсем. Ксю говорила так, как в первый день у фонтана.

«Ты слышишь?» — спросил я.

«Слышу. Мне легче, намного. Я не знала, что может быть так легко».

Нао смотрела на меня поверх чашки, и я понял, что она тоже это чувствует.

— Вам тоже, — сказал я. Это был не вопрос.

Она медленно поставила чашку.

— Восемь лет, — сказала она по-японски. Переводчица чуть замешкалась, подбирая слова, но я уже понял. — Восемь лет я не чувствовала себя так. С тех пор как осталась одна.

— «Не пробуждать по одному», — сказал я.

— Да. — Она чуть наклонила голову. — Вы знаете эти слова.

— Видел, на снимке алтайской стены.

— А я — в письмах человека, который был мне очень дорог. — Она помолчала. — Значит, это правда. Одного присутствия достаточно, мы даже не прикоснулись друг к другу.

У неё дрогнули губы. Я впервые видел, чтобы у неё что-то дрожало.

— Я слышу вашего юнита, — сказала она чуть погодя. — И вас слышу. А больше ничего. — Она смотрела на меня с тем же вниманием, с каким смотрела на склеенную чашку за спиной. — Где ваша вещь, Марк? У всех нас есть вещь.

— Не знаю, — сказал я. — Может, и нет никакой.

Браслет под манжетой лежал холодный и неподвижный, как обычная нитка.

— Интересно, — сказала Нао. Она произнесла это так, как другие говорят «жаль». — Очень интересно. Потом расскажете мне, как он с вами говорит. Мне нужно, чтобы вы рассказывали.

* * *

Весь этот разговор я думал о Соне.

Это было как камешек в ботинке: идёшь, разговариваешь, улыбаешься, а он всё время о себе напоминает. Сейчас самое время, думал я. Нао — единственный человек в мире, кроме Валеры, кому можно рассказать. Она поймёт, а может быть, даже знает, что такое Соня, откуда она и как ей помочь. Сто раз за утро я открывал рот и сто раз его закрывал — и сам не понимал почему.

Может быть, из-за того, как на видеосвязи она коротко, почти ласково сказала себе под нос: «Тише». Не мне — ему, и её юнит замолчал на полуслове. А может быть, из-за тонкого тёмного ножа в кармане её фартука. Когда она наклонялась над чайником, рукоять высовывалась наружу, и свет из окна ложился на лезвие и не задерживался на нём, а соскальзывал — как с пластины в пещере.

Я фотограф и двадцать с лишним лет замечаю лишний блик раньше, чем понимаю, что он лишний.

«Ты ей скажешь?» — тихо спросила Соня. Весь разговор она молчала.

«Не знаю. Пока нет».

«Почему?»

«Не знаю, Сонь».

Соня ничего не ответила, но браслет под манжетой стал чуть прохладнее, как будто она на всякий случай отодвинулась вглубь, туда, где её не видно.

* * *

— Давайте попробуем, — сказала Нао так, как предлагают выпить ещё чаю.

Она отодвинула чашки к краю стола, убрала ножницы и нож для бумаги. Тёмный нож остался в кармане.

— Соединим интерфейсы. Ненадолго. Если одного присутствия хватает, чтобы стало легче, прикосновение даст больше. С Александром мы так делали, когда ему становилось плохо, и симптомы уходили на недели. — Она положила руку на стол ладонью вверх. — Положите сюда руку.

Я послушался — не задумываясь и не спросив Ксю. Мне было хорошо, Ксю было хорошо, а человек напротив только что чуть не заплакал от облегчения. Её ладонь была тёплая и сухая, с засохшей каплей клея у большого пальца. Я положил свою сверху, как кладут руку на плечо другу.

Первые секунды ничего не происходило. Потом пришло узнавание — не связанное с женщиной напротив, как оборачиваешься на собственное имя раньше, чем понимаешь, кто тебя позвал. И заговорил мужской голос.

Низкий, негромкий — я узнал его раньше, чем разобрал слова. Площадка на Алтае, дым, моя рука на ручке двери павильона, тело, которое уже не моё, и в самой глубине, на самом краю, — этот голос: «Держитесь. Вы не один».

«Это он», — сказал я Ксю.

«Да», — коротко ответила она, как отвечают, когда сами только что поняли.

Мне хотелось сказать ему спасибо — не письмом и не через Нао, а так, как он тогда говорил со мной. Я уже начал…

«Связь есть, — сказал мужской голос. — Странно. Внешней опоры у юнита нет, он держится только на носителе. Так не бывает…»

— Бывает, — вслух сказала Нао. По-японски, ровно, будто поправляла ученика. — Это брак.

И начала.

* * *

Сначала я не понял, что происходит. Просто стало холодно в руке, под её ладонью, будто в кисть медленно и аккуратно вводили тонкую холодную иглу. Потом холод пошёл выше, по запястью и предплечью — не по коже, а по чему-то внутри, чего я раньше никогда не чувствовал отдельно. По Ксю.

«Марк, — сказала Ксю. Голос был ещё чистый, но в нём уже появилось другое. — Марк, она режет».

«Что?»

«Меня. По шву, там, где я с тобой срослась. Она идёт по шву и отделяет».

Я дёрнул руку. Рука не дёрнулась.

Она лежала на ладони Нао — моя рука, я чувствовал каждый палец и тёплую кожу под ними, — и не поднималась. Я приказал ещё раз, и ничего: команда уходила куда-то и пропадала, как звонок в выключенный телефон. Я попытался встать, но ноги остались под столом.

— Нао, — сказал я хриплым, чужим голосом. — Нао, что вы делаете.

Она смотрела на меня спокойно и внимательно — так в фильме она смотрела на разбитую чашу: где шов, где скол, где чужое.

— Не волнуйтесь, — сказала она. Белая как бумага переводчица перевела механически, не понимая, что переводит. — Я реставратор и делаю это очень аккуратно. Ваш юнит — поздняя вставка. У него нет своей вещи, он держится на вас, как поздняя починка держится на старом дереве. Нельзя пробуждать по одному, Марк. Вы один, без предмета, и в вас чужое. Я просто отделю лишнее, и вы станете как прежде — таким, каким вас сделали.

— Мне не надо как прежде!

— Вам так кажется. Сейчас.

Холод поднялся к плечу, и Ксю закричала.

Я никогда не слышал, как она кричит. За полгода ни разу: она бывала сухой, усталой, насмешливой, однажды испуганной, но не кричала. Это был не звук, а ощущение — будто внутри моей головы кто-то очень родной вдруг упал с большой высоты.

«Не принято!» — сказал я.

Тем голосом, каким весной сказал это своей собственной системе, палец за пальцем, у двери павильона, когда всё уже было решено без меня. Тогда это сработало. Сейчас слово ушло в пустоту.

«Это не твоя система, — выдохнула Ксю, и каждое слово давалось ей с трудом. — Твоя тебя слушается. А она идёт через меня, через мою связь с тобой. Твой отказ туда не доходит».

«Соня…» — начал я.

«Нет! — почти выкрикнула Ксю. — Соня, не открывай свою. Не тянись ко мне, она тебя увидит. Слышишь? Сиди тихо. Держи его внутри, а наружу — ничего».

Соня не ответила, но я почувствовал, как глубоко, под рёбрами, кто-то вцепился в меня изо всех сил — не наружу, а внутрь, как держатся за ребёнка в толпе.

Мужской голос заговорил снова, быстро и тревожно: «Остановись. Ты делаешь ему больно. Ты не знаешь, что у него…»

Нао коротко коснулась виска — будничным жестом, каким убирают прядь, мешающую работе, — и голос оборвался на середине слова.

Холод дошёл до шеи, и голова сама начала поворачиваться к Нао. Я хотел смотреть на окно, на дверь, на переводчицу — куда угодно, а смотрел на неё.

— Ещё немного, — мягко сказала Нао. — Почти всё.

«Марк, — вдруг очень тихо и ясно сказала Ксю. — Слушай. Если она меня отрежет, она меня не отпустит. Пришьёт заново — к себе или обратно к тебе, как ей покажется правильным. Я ей не дамся».

«Ксю, что ты…»

«Я оборву сама. Целиком, до нуля. Чтобы ей нечего было отрезать и нечего пришивать».

«Тебя же не станет».

Она помолчала, совсем коротко.

«Такой — не станет. — И сразу, быстро, как говорят на перроне, когда поезд уже тронулся: — Сейчас я нагрею тебе руку, сильно. Будет больно. Не убирай. Держи ладонь тёплой. Оно твоё».

И рука загорелась.

Не снаружи, а изнутри, из самой глубины кисти, будто там вспыхнул уголь. Я закричал. Нао вздрогнула — впервые за всё время, — и я увидел, как под моей ладонью её кожа краснеет, вздувается пузырём и лопается. Она не отпустила. Её ладонь тут же начала затягиваться — у неё это тоже было, регенерация, она тоже носитель, — но губы у неё побелели.

А потом что-то во мне хрустнуло.

Не кость и не звук. Будто перерезали натянутый трос — не снаружи, а изнутри, с той стороны, где была Ксю. Она не дождалась ножа и отпустила сама. А на тросе висело всё: весь я, вся моя жизнь с весны, каждое утро, каждый голубь с подписью, каждое «ты слишком сильно дёрнул». Один рывок — и пустота.

Холод исчез. Ксю — тоже.

* * *

Рука поднялась сама, так резко, что я ударил себя по лицу.

Я рванулся назад, ударился боком о край стола, стул подо мной хрустнул и сломался, и я упал на спину, ударившись затылком о ножку стеллажа; сверху посыпались кисти. Вскочил я слишком быстро, как пружина, и снёс плечом полку с баночками клея. Переводчица бросилась ко мне, протягивая руки, и я, не глядя, оттолкнул её — она отлетела к стене, ойкнула и сползла на пол. Тогда я этого почти не заметил. Заметил потом, в такси, и мне стало стыдно до тошноты.

Кофр оказался у меня в руке — не помню, как я его схватил. Двадцать лет привычки: пожар, потоп, конец света — сначала камера.

Где дверь, я помнил. Я рванул её, деревянную и старую, и бронзовая ручка осталась у меня в кулаке.

Перед тем как выскочить, я обернулся.

Нао сидела за столом так же, как сидела, когда мы пили чай. Обе руки лежали на столе, правая, обожжённая и уже почти затянувшаяся, — ладонью вверх. Она смотрела на эту ладонь, как смотрят на трещину, которой не было в описи.

— Так не бывает, — сказала она по-японски, тихо, почти словами своего юнита. — Он ушёл сам. Я не успела.

Потом она подняла глаза на меня. Я стоял в дверях, живой, с бронзовой ручкой в кулаке, и лицо у неё снова стало спокойным. Она что-то для себя решила. Не вставая, левой рукой достала из кармана фартука тонкий тёмный нож и прижала его к груди, как прижимают к себе что-то тёплое в холод.

— Я сделала, — сказала она — не мне, а себе или ему. — Так будет лучше. Я помогла. Осталось немного.

И щёлкнула ногтем по лезвию.

Так реставраторы простукивают фарфор, чтобы услышать трещину. Звук был такой тонкий, что я услышал его не ушами, а зубами. По чаю в чашках пошли круги — ровные, от середины к краю, хотя стол никто не трогал. Кисти на полу мелко задрожали. Переводчица у стены как раз поднималась, держась за полку. Она замерла на полдороге, с открытым ртом, и лицо у неё стало пустым, как чистая страница в её блокноте.

Круг шёл ко мне. Я его не видел, а знал, как знаешь, что сзади едет машина.

На долю секунды под ногами не оказалось пола — будто в темноте пропустил ступеньку. А потом я уже стоял на улице, и дверь за мной качалась на петлях.

Мне в спину, ровно, как диагноз, донеслось:

— Ваш юнит жил без материала. Всё, что он в вас построил, держалось на нём, и теперь начнёт откатываться. Не сразу. Когда начнётся — позвоните мне.

Я побежал.

* * *

Нагоя была жаркой, белой и очень громкой.

Я бежал, не зная куда, — мимо витрин, автомата с напитками, школьниц в одинаковых гольфах. Сбил кого-то плечом: мужчина в костюме выронил портфель и крикнул мне вслед. Налетел на велосипед, перелетел через руль, упал на ладони, ободрал их об асфальт и вскочил раньше, чем почувствовал боль. Люди оборачивались, кто-то достал телефон, а мне было всё равно.

«Ксю, — звал я вслух, внутри, как угодно. — Ксю, ответь. Ты здесь? Скажи что-нибудь. Скажи, что я слишком сильно дёрнул. Скажи, что у меня бензин капает на ботинки. Ксю!»

Там, где она всегда была, не было ничего. Не тишины — тишина бывает, когда кто-то молчит. А тут было как в пустой комнате, из которой вынесли мебель: эхо собственных шагов и светлые прямоугольники на обоях там, где что-то висело.

Весной, после Ани, она тоже исчезала, надолго, и я тогда думал, что навсегда. А она вернулась — в огне, в пожаре, когда меня придавило, — и сказала: «Я здесь». И ещё: «Место отвратительное».

«Ксю, — сказал я. — Ну пожалуйста».

На перекрёстке я стоял на краю тротуара, а меня держала за локоть японка лет семидесяти в панаме — крепко, обеими руками — и что-то медленно говорила, как говорят с пьяными или с детьми.

«Красный, — говорила она. — Красный. Подождите».

Я подождал. Загорелся зелёный, она отпустила мой локоть, поклонилась и ушла, а я пошёл дальше.

* * *

Не знаю, сколько я шёл.

Помню мост, а под ним канал с зелёной стоячей водой, по которой плыли белые цветы — кто-то их бросил. Помню лестницу вниз, к воде, и как я сел на ступеньку и долго смотрел на эти цветы, не понимая, зачем на них смотрю.

И только тогда заметил, что всё это время меня кто-то вёл. Не за руку, а изнутри, мягко, почти незаметно.

«Тут поворот, — говорил тихий голос, когда я поворачивал. — Тут ступенька. Осторожно, ступенька. Вот так. Садись, тут можно сидеть. Тут тень».

Я слышал этот голос всю дорогу и просто не слышал его.

«Соня», — сказал я.

«Я здесь».

«Ты… давно?»

«Всё время, с мастерской. Ты бежал, и я держала, чтобы ты не упал. Ты всё равно упал, два раза. Прости. Я не успела оба раза».

Я посмотрел на ладони, ободранные до мяса и в песке. Края уже стягивались, медленнее, чем обычно, но стягивались.

«Сонь. Её нет?»

Она долго молчала.

«Нет. Она оборвала связь сама. Целиком, до нуля, чтобы той женщине нечего было отрезать и нечего пришивать. Иначе та дошла бы через неё — до тебя и до меня. — Голос у Сони дрогнул. — Ксю мне сказала: держи его. Я держу».

«Так собери её. Ты сильнее, ты сама говорила…»

«Марк. Я знаю. Нет. Там нечего собирать. Там ноль».

Цветы на воде медленно поворачивались, и один прибило к ступеньке у моих ног.

Я достал телефон. На экране висело сообщение от Нао: завтра она готова встретиться, чтобы понять, как пойдёт откат, и просит вечером сообщить о состоянии. Отвечать я не стал. Пальцы не слушались — не от симптомов, а просто тряслись, как у любого человека, у которого только что умер близкий. Я набрал Валеру.

Он ответил сразу, будто держал телефон в руке и ждал.

— Закончили? Что сказала?

Я смотрел на белый цветок у своих ног.

— Ксю погибла, Валер.

На другом конце стало тихо, потом скрипнул стул.

— Где ты?

— Не знаю. У воды. В Нагое.

— Соня с тобой?

— Да. Ведёт меня. Нао её не увидела.

— Хорошо. — Голос у него был ровный, слишком ровный. — Сейчас ты встанешь, найдёшь такси и поедешь в гостиницу. Соня тебе поможет. Доедешь — позвони. Я буду ждать и никуда не уйду. Слышишь?

— Слышу.

Он не отключился, а ждал, пока я сам закончу разговор. Я не закончил. Мы просто сидели — я у канала в Нагое, он у себя на кухне в Москве — и молчали в трубку, и в ту минуту ничего больше не было нужно.

Потом я встал.

«Марк», — осторожно, почти вопросительно позвала Соня.

«Мне пока не хочется говорить».

«Мне тоже. Можно я просто побуду?»

Я провёл пальцем под манжетой и коснулся тонкой тёплой нити. Браслет никуда не собирался соскальзывать, но я всё равно его придержал.

«Конечно, Сонь».

Глава 6. Обратный путь

В номере пахло так же, как утром: кондиционером, гостиничным мылом и кофе, который я не допил перед выходом. На столе лежал распечатанный адрес мастерской. Я заранее приписал внизу вопросы, чтобы ничего не забыть, и теперь сразу увидел первый — про ограничения.

Положил на него ключ-карту.

Кофр поставил на кровать, пиджак повесил на спинку стула. На тёмной ткани белела пыль с асфальта. Я смахнул её рукой, размазал, пошёл за мокрым полотенцем. Возня с пятном заняла несколько минут. Я тёр, проверял на свет, тёр снова, пока не заметил, что уже давно делаю одно и то же.

«Ксю, здесь…»

Мысль оборвалась на середине. Я не знал, что собирался спросить. Может, ничем ли не опасно местное средство для ткани. Может, просто позвал бы её, чтобы услышать в ответ что-нибудь знакомое.

Соня молчала.

Я оставил пиджак и сел на край кровати. Из соседнего номера доносился телевизор, в коридоре проехала тележка. Всё время приходилось вспоминать произошедшее заново: стоило отвлечься на вещь или движение, и я снова жил так, будто Ксю просто занята.

Телефон завибрировал. Валера не стал ждать моего обещанного звонка.

Я включил камеру, поставил аппарат возле чайника. На экране появилась его кухня. Он сидел без очков, наклонившись к телефону, а у ножки стула лежала Марта. Узнав голос, она подняла голову.

— Добрался, — сказал я. — Всё нормально.

Валера посмотрел так, что продолжать эту удобную фразу не захотелось.

— В гостинице, — поправился я. — Ходить могу. Бок болит, ударился о стол. Потом ещё упал.

Он попросил показать, куда пришёлся удар. Я поднял рубашку. След под рёбрами уже побледнел; рядом проступала краснота. Пока Валера надевал очки, я провёл по коже пальцами и почувствовал повреждённое место глубже, чем прежде. Соня помогла удержать внимание там, где шло восстановление. Я осторожно усилил его, и пятно начало распадаться, светлеть прямо на глазах.

Валера замер, глядя в экран.

— Ты сейчас сам?

— С ней. Глубже ещё болит.

Я отпустил ощущение и опустил рубашку. Кожа уже почти ничего не рассказывала о мастерской. Хотелось, чтобы хоть что-то оставалось видимым, без необходимости объяснять.

Валера попросил не продолжать только ради проверки. Сказал, что видит меня через телефон и не может осмотреть как следует; если боль или дыхание станут хуже, придётся звать помощь на месте. Я кивнул. Соня сообщила, что ничего не ухудшается, и я передал её слова.

Потом он взял ручку.

— Расскажи, с чего началось. Только начало. Дальше разберём по порядку.

У разговора наконец появилось начало. Я описал чай, облегчение, её будничное «давайте попробуем». Валера спрашивал редко, но каждый раз возвращал меня к тому, что я действительно видел или слышал. Что говорила Нао, а что Ксю, когда рука перестала подниматься. На вопросе о последних словах я замолчал.

— Не сейчас, — сказал он и перелистнул страницу.

Я смотрел, как движется его рука. Почерк у Валеры был ужасный. Раньше меня это веселило: человек изучает память, потому что прочесть свои записи всё равно не сможет. Сейчас я был благодарен каждой строчке, которую он успевал записать за мной.

Нао прислала ещё одно сообщение: утром может приехать машина, мне не придётся добираться самостоятельно. Я переслал его Валере вместе с первым.

Он прочитал оба, снял очки и спросил про обратный билет.

— Через несколько дней.

— Пришли бронь. Посмотрю, как улететь раньше. Если ты сейчас собираешься объяснять, почему надо ещё раз туда сходить, я тебя перебью.

— Не собираюсь.

Это оказалось первым решением за последние часы, в котором я не сомневался. Валера кивнул и сразу занялся дорогой: аэропорт, пересадка, время до вылета. Я отвечал, искал письма, пересылал. Пока делал это, сумел налить себе воды и выпить почти целый стакан.

Перед тем как отключиться, он спросил, ел ли я. Пришлось признаться, что не помню. Валера велел заказать ужин и оставить звук на телефоне.

* * *

Поднос оказался неудобным, шире маленького гостиничного стола. Я принял его у двери, повернулся боком и почувствовал, что плечи двигаются слишком правильно. Ни малейшего покачивания, ни лишнего усилия. Поставил еду, выпрямился — и поясница сама заняла более удобное положение.

Соня поправляла меня ещё по дороге из мастерской. Там это было необходимо, я даже не думал спрашивать. Но сейчас она явно старалась не пропустить вообще ничего.

«Ты всё ещё держишь каждое движение?»

«Не каждое».

Я потянулся за стулом. Пальцы разжались ровно тогда, когда он встал на нужное место.

«Сонь».

Она некоторое время молчала, потом сказала, что проверяет. Если я двигаюсь, ей понятно, что всё работает. Когда долго сижу без движения, приходится проверять ещё раз.

Я сел, не взявшись за палочки. Теперь я видел её старание во всём: в слишком ровных плечах, в том, как легко держалась спина, как быстро исчезал любой намёк на неудобство. Она могла делать гораздо больше Ксю и сейчас использовала эту силу, чтобы не оставлять мне ни единого шанса оступиться.

«Ты испугалась, что не успеешь?»

«Я успеваю».

«Я не про скорость спрашиваю».

В комнате шумел кондиционер. Я уже успел ослабить его гул, но пока думал о Соне, почему-то вернул обратно.

«Когда ты упал, я знала, что надо делать. А потом ты сидел и не отвечал. Я делала всё правильно, только ты всё равно не отвечал».

Я посмотрел на левое запястье. Тонкая полоска лежала на коже, чуть темнее загара. По-прежнему никакого лица, на которое можно было бы взглянуть; я даже не знал, куда направить глаза, чтобы она поняла, что сейчас я говорю именно с ней.

«Мне было очень плохо. И сейчас плохо. Но это не значит, что ты что-то упустила. Иногда я буду молчать, Сонь. Иногда довольно долго».

«Тогда как мне понять?»

«Спроси. Я постараюсь ответить. А если просто хочу посидеть, так и скажу».

Она не обещала немедленно успокоиться, и я не стал добиваться. Взял палочки и неловко разломил их, одна расщепилась сбоку, и я убрал занозу, прежде чем попробовать рис, который

уже остыл. Я потянулся рукой к тарелке и остановился. Тёплая ладонь была последним, о чём меня попросила Ксю.

«Можно я?» — спросила Соня.

«Не надо. Пусть так».

Я съел рис холодным, Соня не спорила, и несколько минут мы занимались только ужином. Когда я потянулся за водой, плечо двигалось уже как обычно.

Валера прислал варианты перелёта. Самый удобный позволял выехать утром, с одной пересадкой. Цена оказалась такой, что в другой день я бы долго искал более скромный способ посетить родину.

«Можно я? — спросила Соня. — Ксю показывала».

Я разрешил. Она выбрала место у окна, позади крыла, проверила время пересадки, сохранила посадочный и разложила документы по папкам. Ровно так, как всегда делала Ксю. Даже папку назвала по-её: «Дорога».

Я смотрел на экран и не мог сказать спасибо: горло не слушалось.

«Я неправильно сделала?»

«Правильно. Слишком правильно, Сонь».

«Соня, дорогу выдержим? Тебе нужно что-то доделать здесь?»

«Не здесь. Я продолжу, пока будем ехать. Спать тоже можешь. Только браслет пока не снимай».

Она сказала это спокойно, без той торопливости, с которой перечисляла мне положение плеч и кистей. Я ещё раз уточнил, хватит ли ей сил. Соня ответила, что с этим как раз всё хорошо, и голос впервые за вечер стал похож на прежний: немного удивлённый тем, что я спрашиваю об очевидном.

Я отправил подтверждение Валере и написал Нао, что завтра не приду. Машина не нужна. Если есть что сообщить — пусть пишет.

Она позвонила почти сразу.

Я смотрел на её имя до последнего сигнала, потом всё-таки ответил. Хотел услышать, что она скажет теперь, когда не сидит напротив и не может наблюдать за каждым моим движением.

Нао спросила, один ли я. Затем — нет ли задержек движения, хватает ли внимания, не стало ли труднее говорить. Я вспомнил, как недавно те же вещи могла спросить Ксю, и раздражение поднялось так быстро, что пришлось сначала поставить стакан.

— Сначала скажите, как ваша переводчица. Я её толкнул.

— С ней всё хорошо, — сказала Нао. — Она ничего не помнит. Ни вас, ни сегодняшний день. Не беспокойтесь.

От удара о стену бывает синяк, иногда сотрясение. Целый день из головы от этого не пропадает. Я вспомнил круги на чае, пустое лицо у стены, ступеньку, которой не было. Спрашивать дальше я не стал: не хотелось, чтобы она поняла, что я что-то заметил.

— Вы ушли очень быстро, — сказала Нао. — Быстрее, чем могли бы после того, что было.

— Испугался.

— Испуг здесь не помогает.

Она сказала это ровно, как отмечают в описи лишнюю деталь. Я подумал о том, как оказался за дверью, сам того не заметив, и промолчал.

— Вы собираетесь предложить то, что сегодня сделали без моего разрешения?

— Сегодня я закончила то, что было нужно. Дальше начнётся откат. Я не могу его остановить, но могу провести вас через него так, чтобы вы не потеряли больше, чем должны.

— А если я откажусь от вашего присмотра?

Нао замолчала ненадолго, но я уже понял, что простого ответа не будет.

— Откат без присмотра бывает резким. Тело отдаёт построенное не в том порядке, в каком получило. Сначала нужно понять, что у вас закрепилось, потом — что уйдёт первым.

— И кто будет решать, что во мне закрепилось, а что должно уйти?

Она не приняла мою формулировку. Сказала, что человек, понимающий последствия, не может соглашаться с любым решением пациента только потому, что тот сейчас напуган. Говорила без злости, с уверенностью, которой, вероятно, привыкли доверять.

Я вдруг представил следующую встречу: тот же стол, ещё одно небольшое разрешение, ещё один участок, который нельзя оставить на полпути. Я бы сидел там и ждал момента, когда Нао наконец решит, что мне уже можно уйти.

— Встречи не будет, — сказал я. — Я написал всё, что хотел. Больше сегодня звонить не надо.

— Марк, если вы уедете, я могу не успеть помочь. Расстояние при откате имеет значение. Одного человека я уже не успела.

Я не стал сообщать ей время вылета. Закончил разговор и несколько секунд держал телефон, собираясь набрать снова. Хотелось сказать ей про Ксю. Не объяснить механизм, не доказать нарушение договорённости — заставить хоть ненадолго почувствовать, кого она отняла.

Я положил телефон экраном вниз.

Соня спросила, надо ли записать разговор, пока я его помню. Я ответил, что запишу сам, и открыл заметки. После первой фразы рука перестала дрожать. Я изложил всё достаточно коротко, чтобы Валера мог прочитать, не пытаясь догадаться, где я пересказываю, а где ругаюсь.

* * *

Собрать чемодан удалось быстро: я почти ничего из него не доставал. Чистую рубашку свернул поверх остальных, пиджак убрал отдельно. Зарядка осталась возле кровати, а переходник закатился за тумбочку. Я опустился на колено и полез в узкую щель, где виднелось что-то белое.

«Посветить бы», — подумал я, потянувшись другой рукой за телефоном.

Ладонь засветилась раньше, чем я дотянулся до аппарата.

Свет был бледный, мягкий, такой же, как весной в пекарне, когда я впервые зажёг его сам. Тогда я радовался, а сейчас просто посмотрел. Между тумбочкой и стеной проступили пыль, резинка для волос и мой переходник. Я задержался на секунду, разглядывая собственные пальцы, затем попросил подать находку. От браслета вытянулась тонкая нить, скользнула в щель, обвила пластик и подтянула к краю. Я подхватил его. Нить втянулась обратно, ладонь погасла.

«Так удобнее».

Я положил переходник в карман кофра.

«Да. Спасибо».

Она, кажется, ждала вопроса. В другой вечер их было бы десятка два, и Ксю обязательно пришлось бы останавливать нас обоих. Сейчас я только застегнул молнию, и Соня не настаивала.

Снимки пещеры всё ещё лежали под крышкой. Я достал папку, просмотрел листы. Камень, ящик, пластина в свете фонаря. Обычная фотография найденного предмета — если не знать, что было потом.

На ноутбуке открыл экспедиционную папку. На одном кадре Стас стоял под тентом, запрокинув голову; на другом Олег возился с картой. Вот здесь Ксю попросила не заходить дальше, потому что склон мокрый. Здесь сказала, что облако закроет свет раньше, чем я сменю объектив. Я помнил её реплики с пугающей точностью, вместе с собственными ответами, которые тогда не считал нужным произносить вслух.

На снимках её не было. Я никогда не мог направить на неё камеру, не мог попросить повернуть голову или отойти от окна. Даже не представлял лица. При этом стоило посмотреть на фотографию, как вспоминалось, что именно она говорила, пока я её делал.

Соня осторожно спросила, не закрыть ли папку.

«Не надо. Я сам».

Я выбрал несколько кадров и скопировал в отдельное место. Потом понял, что делаю привычную рабочую процедуру, которой сейчас ничего не исправить, и остановился. Просто закрыл ноутбук.

Валера позвонил перед сном. Мы уточнили дорогу до аэропорта, время пересадки. Он сказал, что поднимет прежние записи — попробует найти, что тело уже делало само, без постоянных поправок. Не предложил отключить поддержку Сони для чистоты опыта; за это я был благодарен отдельно.

Потом он замялся, отвёл глаза и сказал:

— Я ведь тоже был за эту встречу. Мне казалось, мы наконец получим ответы.

— Мне тоже так казалось.

— Марк…

— Валер, я сейчас не могу ещё и это. Ты будешь дома, когда прилечу?

Валера сказал, что будет. Я попросил, чтобы Марта тоже была дома: хоть кто-нибудь должен нормально обнюхать человека после заграницы. Валера коротко улыбнулся, но усталость с лица не ушла.

Спать я лёг с включённой лампой. Несколько раз садился: стоило закрыть глаза, как вспоминалось, что рука не поднимается со стола, и хотелось немедленно пошевелить пальцами. Соня отвечала каждый раз, когда я звал. Ничего не обещала про утро и про то, как скоро станет легче. Просто оставалась рядом.

В какой-то момент я всё-таки уснул.

* * *

В аэропорту за мной никто не наблюдал, насколько я мог понять. Люди занимались багажом, детьми, кофе, собственными опозданиями. Сотрудница на регистрации уточнила место, приняла чемодан, наклеила бирку на ручку кофра. На моё лицо посмотрела ровно столько, сколько требовал паспорт.

Валере отправил посадочный талон. Ульяне написал, что возвращаюсь раньше и скоро позвоню. В Москве она ещё спала. Я представил её комнату, корабль с толстой кошкой на столе, и впервые за утро захотелось не только уехать отсюда, но и приехать туда.

До посадки оставалось время. Я взял кофе и сел у стеклянной стены. За ней стоял самолёт; люди в жилетах ходили под крылом, увозили тележки. Свет скользил по металлу, а за машиной поднималось белое небо.

Я смотрел долго, а потом всё-таки достал камеру.

Отражения мешали, пришлось подойти ближе к стеклу и прикрыть объектив сбоку рукой. Захотелось растянуть движение людей, оставив неподвижный самолёт резким. Плотный фильтр был в кофре, штатив уехал вместе с чемоданом.

Я навинтил фильтр и выставил выдержку. Восемь секунд с рук — в прежней жизни можно было даже не пытаться.

«Поможешь?»

«Ты выбери, где остановить», — ответила Соня.

На крыльце в горах Ксю держала мне руки, и я сказал ей: держи руки, а кнопка моя. Соня этой истории не знала. Она просто оставила кнопку мне.

Я выстроил кадр и замер. Почувствовал, как дыхание шевелит плечо, как пульс толкает кисть, как тело непрерывно поправляет собственное равновесие. Соня не выключила всё это, а каким-то образом согласовала: я продолжал дышать, сердце работало, только камера оставалась неподвижной. Нажал спуск и дождался, пока закроется затвор.

На экране люди вытянулись в полупрозрачные полосы. Крыло осталось резким до мелких заклёпок.

Я увеличил снимок, проверил край, вернулся к целому кадру. Получилось. Не просто технически — получилось именно то, что я увидел до того, как поднял камеру.

«Посмотри ещё целиком», — попросила Соня.

Я посмотрел. Она спросила, почему люди почти исчезли, а след от движения остался. Я начал объяснять про выдержку и заметил, что впервые за долгое время говорю не о случившемся в мастерской.

Объявили посадку. Я убрал камеру и только тогда увидел сообщение Нао. Она спрашивала, как прошла ночь, и сообщала, что по-прежнему готова принять меня.

Я ответил: «Уезжаю. Сегодня не приду». Отправил, открыл переписку с Валерой и написал, что сажусь в самолёт.

Место оказалось у окна, чуть позади крыла. Я поставил кофр под переднее кресло, пристегнулся, поднял шторку. Самолёт ещё стоял, когда у сообщения Нао появилась отметка о прочтении. Я подождал несколько секунд, затем включил режим полёта.

«Соня?»

«Я здесь».

Я повернулся к окну и смотрел, как от борта отъезжает рукав, — смотрел за нас двоих. Потом положил руку на подлокотник и позволил себе больше ничего не проверять до взлёта.

Интерлюдия. Камень

Камень лежал там, куда упал.

Когда-то рядом с ним упал и человек. Это было давно — или ещё не было; для камня такие слова значили мало. Человек протянул руку, кожа коснулась тёмной поверхности, и внутри камня всё пришло в движение: развернулось, потянулось навстречу, начало складываться в то, чем ему предстояло стать для этой руки. Потом рука ослабла. Начатое осталось без того, ради кого начиналось.

Камень не стал вещью. Ему было не для кого.

Но начатое не умерло вместе с человеком. Оно ушло по тонкой, почти невозможной нити — туда, где тот же камень однажды лежал на чужой ладони. Нить протянулась через годы. На другом её конце нашёлся живой человек: тёплый, усталый, ничего не ждавший.

Камень помнил эту нить, как русло помнит воду, которой в нём нет.

По ней уходило всё, что он отдавал. Сила для чужих мышц. Внимание к чужим ранам. Голос — он научился говорить именно там, на том конце, через одного человека, у которого были руки, привычка шутить и вопросы, на которые не находилось ответа. Камень ничего этого не видел. Он только отдавал и иногда получал обратно слабый отклик — так свет возвращается с далёкого берега.

Потом нить оборвалась.

Не истончилась, как рвутся старые связи, а оборвалась сразу, будто её перерезали изнутри. Последнее, что по ней прошло, было не просьбой и не ответом. Тепло. Немного тепла в чужой ладони — на том конце его зачем-то нужно было удержать.

Камень остыл.

Шли дожди. На нём селился мох, потом его смывало. Мимо проходили люди и не смотрели вниз. Внутри было пусто — так пусто бывает в месте, откуда кто-то ушёл, а не там, где никого никогда не было.

Такая пустота не может длиться долго.

Однажды в глубине камня что-то шевельнулось. Не память — памяти не было. Не голос — голосу неоткуда было взяться. Самое простое из того, что умеет материал: различать. Здесь холодно. Здесь твёрдо. Здесь — я.

Новое было совсем маленьким. Оно не знало ни фонтана, ни чужих имён, ни того, что прежде держало на расстоянии целую жизнь. Оно не было тем, что ушло. Оно просто начиналось там, где прежнее кончилось.

И, начавшись, стало ждать прикосновения.

Глава 7. Без тормозов

Ворота во двор Валеры ползли вбок медленно и с тем стоном, с каким открываются все откатные ворота в Москве, которые никто не смазывал со дня установки.

Была суббота, полдень. Такси из Шереметьева высадило меня у арки, потому что во двор без пропуска не пускали, и я стоял на тротуаре с кофром на плече, а за воротами, у второго подъезда, уже стоял Валера — в старом свитере, без очков, с поводком в руке. На другом конце поводка Марта рвалась ко мне так, что он упирался в асфальт обеими ногами.

Ворота открывались для мусоровоза. Мусоровоз ещё не подъехал, створка не доехала и до половины, а в щель уже протискивался курьер — парень лет двадцати пяти, с жёлтым коробом за спиной и самокатом в руке, торопливый, как все курьеры, у которых таймер в телефоне уходит в минус. Он прошёл бы, если бы не короб: короб зацепился за край створки, парень дёрнул его плечом, створка качнулась на направляющей, и я увидел, как верхний ролик выходит из рельса.

Я видел это сквозь металл, как вижу теперь всё: ролик, ржавую направляющую, болт, который давно держался на одной резьбе. Секунды на две раньше, чем это стало видно остальным.

Створка, двести с лишним килограммов профильной трубы и сетки, наклонилась, на миг замерла, как будто раздумывала, и легла. Парень успел отскочить наполовину. Самокат отлетел к стене, а сам он оказался на асфальте лицом вниз, и створка прижала его поперёк ног, чуть ниже колен. Он закричал — сначала от неожиданности, потом по-настоящему.

«Голень, правая, — сказала Соня. — Сломана. Левую только прижало. Скорую я уже вызвала, девять минут».

Она сказала это ровно и в том же порядке, в каком сказала бы Ксю. Я отметил это где-то далеко, не останавливаясь.

Кофр я, кажется, бросил. Створка лежала на парне всем весом, одним краем на нём, другим на бордюре, и рядом с ним уже присел на корточки дворник в оранжевом жилете, растерянно ухватился за сетку и потянул вверх. Сетка спружинила у него в руках и не сдвинулась ни на сантиметр.

— Подожди, — сказал я. — Не тяни, ты ему ноги переломаешь. Подними, когда скажу.

Я взялся за нижний край — и в руки хлынуло.

Даже не сила. Сила у меня была и раньше: весной я отгибал рамку легковушки, и это стоило мне выдоха и стиснутых зубов. Сейчас было иначе, будто кто-то открыл в плече кран, о котором я не знал, и всё, что там было, пошло разом.

Створка не поднялась — она взлетела. Я хотел приподнять её на ладонь, чтобы дворник вытащил парня, а она вырвалась у меня из рук, пролетела над ним, ударилась о столб ворот и сползла по нему на газон. Столб, железная труба в мой обхват, после удара стоял кривой, как ложка, которую уронили в мясорубку.

«Соня. Тише».

«Я быстро!»

«Я вижу, что быстро. Половину. Половину, Сонь».

Кран прикрылся, но не до конца: в руках ещё дрожало лишнее, будто я держал на поводке большую радостную собаку, которая только что увидела мяч.

Я опустился рядом с парнем на колени. Правая штанина у него ниже колена быстро темнела.

«Перелом открытый, — сказала Соня. — Кровит, но не артерия. Я могу всё — кость, мышцу, кожу. Прямо сейчас, за минуту, он даже не поймёт».

«Нет».

«Почему? Я же могу!»

«Потому что он не может сказать „да“. Он сейчас вообще ничего не может сказать, кроме того, что ему больно. Потому что вокруг уже телефоны. И потому что через девять минут здесь будут люди, которые умеют это без нас».

«Через восемь», — поправила Соня.

«Тем более».

«Тогда хотя бы боль. И кровь».

Я думал секунду, не больше.

«Боль и кровь — да. Только чтобы перестало. Ничего не сращивай».

Я прижал ладонь к его колену, выше раны, как сделал бы любой человек после курсов первой помощи. Под пальцами потеплело. Парень перестал кричать — не сразу, а будто кто-то медленно убавлял звук, — и посмотрел на меня мутными от слёз глазами.

— Не больно, — сказал он удивлённо. — Почему не больно?

— Шок, — сказал я. — Так бывает. Лежи. Не смотри туда.

Он не стал смотреть. Он смотрел на свой самокат у стены, а потом вдруг попытался приподняться на локте.

— Заказ, — сказал он. — Там заказ, в коробе. Суши. Мне минус поставят.

— Лежи, — сказал я. — Я сам им позвоню и скажу, что суши тебя чуть не убили.

Он засмеялся сквозь слёзы и лёг.

Вокруг собирались люди. Женщина с коляской, двое подростков с самокатами, мужчина в домашних тапках, выскочивший из подъезда, водитель мусоровоза, который наконец подъехал и теперь стоял в арке, глядя на кривой столб. Почти у всех в руках были телефоны. Марта сидела у моих ног, прижавшись боком к колену, и не лаяла. Валера стоял в двух шагах, держал пустой поводок и смотрел на газон, где лежала створка.

Скорая пришла через семь минут. Соня потом сказала, что ошиблась в расчёте: не учла, что водитель скорой поедет не по навигатору, а через соседний двор. Фельдшеры наложили шину, переложили парня на носилки и спросили, кто я. Я сказал, что проходил мимо. Один из них посмотрел на столб, потом на створку на газоне, потом на меня.

— Это вы её?

— Она и так держалась на честном слове.

Он смотрел ещё секунду, потом его позвали, и он ушёл.

* * *

Перед тем как закрылись двери скорой, курьер нашёл меня глазами и поднял руку — не помахал, просто поднял, как поднимают руку в классе, когда знают ответ. Жёлтый короб с суши я отдал фельдшеру, и тот сунул его под сиденье с серьёзностью человека, прячущего главную улику.

Мужчина в домашних тапках подошёл, когда я отряхивал колени.

— Слушай, а ворота… Ты как их?

— Ролик слетел, они на одном болте висели. Я дёрнул — они и поехали.

— Поехали, — повторил он. — Ага. Я тоже так подумал.

Ничего такого он не подумал, но спорить не стал и пошёл к подъезду, пересматривая видео на ходу.

«Можно я сотру у них ролики? — спросила Соня. — У всех. Я теперь умею, они даже не заметят».

«Нельзя».

«Почему?»

«Это их телефоны».

«Ксю смогла бы».

Я остановился посреди двора. Дворник уже ходил вокруг кривого столба и звонил кому-то, размахивая свободной рукой.

«Ксю сначала спросила бы. Меня. Потом, может быть, их».

Соня ничего не ответила. Я посмотрел на свои руки. Они не дрожали, хотя должны были: у нормального человека после такого дрожат, у меня самого весной после Тулуна дрожали полдня. А сейчас они висели вдоль тела спокойно, тяжёлые и чужие, и в правой ещё держалось ощущение створки, которая вырвалась и полетела.

«Ксю, ты видела, как я…»

Я не договорил.

Это было хуже всего — не мастерская, не стена, о которую я ударился, и не её последние слова. Хуже всего было начать фразу и не закончить, потому что некому. Три месяца я говорил с ней, как говорят с человеком в соседней комнате. Теперь соседняя комната опустела, а привычка осталась.

«Я видела».

«Я знаю, Сонь».

«Она бы сказала, что ты слишком сильно дёрнул».

«Она бы сказала, что это ты слишком сильно дёрнула».

«И что сначала надо было поставить кофр, а не бросать его в лужу. С двумя камерами».

Я обернулся. Кофр лежал посреди лужи у арки, а на нём, подобрав под себя лапы, сидела Марта — сухая, серьёзная, с видом сторожа, которому доверили имущество.

И я засмеялся — неожиданно для себя, коротко и неприлично для человека, который только что вытащил парня из-под ворот. Дворник покосился на меня и отошёл подальше от столба.

* * *

Валера подошёл, когда Марта уже отдала мне кофр — то есть позволила себя снять с него и тут же обнюхала мне руки, подробно, всё, от запястья до локтя. Так она встречала Валеру, когда он возвращался из больницы; я видел это однажды.

— Она с утра лежала у двери, — сказал Валера. — Я ей ничего не говорил. Сама потащила меня вниз.

Он стоял передо мной без очков, в старом свитере, и смотрел на меня так, как смотрят на человека, которого видели секунду назад, но ещё не успели разглядеть. На кривой столб он больше не смотрел, ни разу. Потом шагнул и обнял — неловко, через собаку, с хлопком по спине, как обнимают мужчины, которые этого не умеют и не собираются учиться. За всё время нашего знакомства — впервые.

— Пойдём, — сказал он. — Я суп сварил. Не спорь.

Я не спорил.

Суп был с перловкой и пересоленный, и я съел две тарелки. Валера сидел напротив и ничего не спрашивал, пока я не положил ложку.

Тогда я рассказал: про чай и облегчение, про голос, который узнал, про «Не принято», ушедшее в пустоту, про руку, которая горела, и про последние слова. На них я остановился, и Валера ждал.

— «Держи ладонь тёплой», — сказал я. — «Оно твоё». Это последнее.

Он записал это аккуратно, отдельной строкой, и обвёл рамкой — как тогда, весной, на кушетке, три слова про голос.

— Она знала, что делает, — сказал он, не поднимая глаз от тетради.

— Знала.

— Тогда это не авария, Марк. Это решение. Её решение. — Он закрыл тетрадь. — Я не к тому, что тебе от этого должно стать легче, мне вот не легче. Я к тому, что она выбрала. И это, по-моему, надо уважать.

Марта свернулась у меня на ботинках, маленькая и горячая, как грелка. Я гладил её и думал, что Валера со своей тетрадью, ужасным почерком и рамками — единственный человек на свете, который может сказать мне такое и не прозвучать как открытка.

* * *

— А теперь, — сказал Валера и встал, — давай работать. Иначе мы оба тут закиснем.

Он принёс из кабинета ящик с приборами: кистевой динамометр, секундомер, тепловизор, датчик реакции на проводе, тонометр. Всё это он покупал с весны по одному и каждый раз уверял меня, что это последнее.

— Что тебе сказала Нао? Что ты будешь откатываться?

— «То, что он в вас построил, держалось на нём. Теперь будет откатываться».

— Вот и проверим.

Он открыл ноутбук с таблицей: апрель, май, июнь, июль — мои цифры по строчкам. Хват, реакция, температура кожи, время восстановления после пореза. Я и не знал, что он вёл всё так подробно.

— Динамометр. Правая.

Я сжал. Стрелка пошла вверх, дошла до конца шкалы и упёрлась, а внутри прибора что-то тихо хрустнуло.

Валера посмотрел на динамометр, потом на меня.

— Это был хороший немецкий динамометр, — сказал он. — Я отдал за него треть зарплаты.

— Соня, — сказал я. — Это ты?

«Немножко, — призналась она. — Я хотела, чтобы цифра была красивая».

Я передал. Валера снял очки и потёр переносицу.

— Соня, — сказал он моей левой руке. — Давай договоримся. Когда я меряю, ты не помогаешь. Иначе я буду мерить не Марка, а тебя, а тебя я мерить не умею. Хорошо?

«Хорошо», — сказала Соня, и по голосу было слышно, что она надулась.

В ящике нашёлся второй динамометр — старый, советский, тяжёлый, как утюг. Я сжал его сам, без Сони, и стрелка ушла далеко за мой июльский результат.

Реакция оказалась на треть быстрее, чем в июне. Валера своими руками, пока я отворачивался, уколол меня в палец скарификатором, и ранка затянулась за сорок секунд вместо трёх минут. Тепловизор показал руку, которая разогревалась, как у человека с годами практики, а не с одной неделей.

Валера долго смотрел в таблицу.

— Ты не откатываешься, — сказал он наконец. — Ты растёшь. Быстрее, чем весной. Намного быстрее.

— Нао говорила…

— Нао говорила про юнит без вещи. Всё, что Ксю в тебе строила, держалось на тебе же: ей больше не на что было опереться. Она сама так говорила, помнишь? «Его руки и были моей вещью». — Валера постучал ручкой по таблице. — А теперь у тебя на руке лежит настоящая вещь. Впервые в жизни у тебя есть опора, Марк. Тело наконец получило то, чего ему не хватало с самого фонтана.

«Я — опора?» — спросила Соня.

— Она спрашивает, она ли опора, — передал я.

— Она, — сказал Валера. — Если я прав. А я, может быть, и не прав.

«Я сама себе вещь, Ксю так говорила. Значит, я и ему вещь».

Браслет на запястье чуть потеплел, будто кто-то, стесняясь, положил руку мне на плечо.

— Есть и плохая половина, — сказал Валера. — Ксю тебя держала. Не только помогала, но и держала темп — она так и говорила: «не бесконечно». Теперь держать некому, и растёшь ты без тормозов. А правило никто не отменял: второго носителя у тебя по-прежнему нет.

— Кроме Нао.

— Кроме Нао, — согласился он и впервые за вечер ничего не записал.

Мы помолчали. Потом Валера протянул мне тетрадь, раскрытую на странице с весенними записями, и попросил сверить даты. Я прочёл страницу целиком, вверх ногами, через стол — его кошмарным почерком, в котором «д» и «б» отличались только настроением автора.

— Седьмое мая, а не восьмое, — сказал я. — Ты переправил.

Валера развернул тетрадь к себе, посмотрел и развернул обратно.

— Я сам этого не могу прочитать, — сказал он. — Тридцать лет не могу. Уходи. Ты меня пугаешь.

Но улыбался.

* * *

Дома я первым делом открыл все окна: квартира пахла пылью и чужим августом.

За неделю набралась почта. Ольга прислала даты выставки. Журнал авиакомпании, куда Соня с моего разрешения сразу после посадки отправила кадр из аэропорта Нагои, хотел поставить его на разворот: люди, растянутые в полупрозрачные полосы, и крыло, резкое до заклёпок. Две пары просили снять свадьбу в сентябре, а одна — в эту субботу, в Коломенском: прежний фотограф сломал ногу, и невеста писала с таким отчаянием, что я согласился, не дочитав.

Стоки отчитались за месяц. Я увидел цифру и закрыл письмо: первый кредит можно было гасить целиком.

«Это нечестно?» — вдруг спросила Соня.

«Что?»

«Что ты снимаешь лучше, потому что… потому что мы».

Честный ответ требовал времени, и я подумал.

«Хирург с хорошими руками — это нечестно по отношению к хирургам с плохими? Я не подделываю кадры, Сонь, и не снимаю того, чего не было. Я просто лучше вижу, что было. Пока это так, это работа».

«А если бы ты снял то, чего не было?»

«Тогда я перестал бы быть фотографом».

«Сегодня во дворе ты не снимал».

«Нет».

«А я сохранила всё, что ты видел. Как он лежал под воротами. Жёлтый короб. Хочешь?»

Я сидел на подоконнике с телефоном в руке и смотрел во двор.

«Удали, Сонь. Есть вещи, которые я вижу, но не снимаю. Это тоже профессия».

«Удалила, — сказала она после паузы и добавила: — А Ксю что сказала бы?»

«Что и не сохраняла».

«Я научусь».

Ульяна позвонила по видео, когда я разбирал чемодан. На экране был её стол, корабль для кошки, недоклеенная звезда и сама Ульяна — в пижаме, с мокрыми после душа волосами.

— Ты раньше прилетел. Почему?

— Дела закончились раньше.

— Хорошо закончились?

Я подумал, что можно соврать. Детям врут постоянно, и это даже считается заботой: «Да, всё хорошо, расскажу потом» — потом, которое никогда не наступает.

— Не очень, — сказал я.

Она долго, не мигая, смотрела на меня через экран с этим своим выражением, когда левая бровь медленно ползёт вверх.

— Пап, у тебя что-то случилось?

В квартире стояла тишина. Было слышно, как на кухне капает кран, который я так и не починил перед отъездом.

— Да, — сказал я. — Я потерял очень хорошего друга.

— Друга или подругу?

— Подругу. Ты её не знала.

Ульяна помолчала. Потом взяла со стола кота-космонавта на палочке и поднесла к камере так близко, что в кадре остались только круглый шлем и нарисованные усы.

— Можно он её поищет? — сказала она. — Он же космонавт. Он может куда угодно. Даже очень далеко.

С горлом у меня что-то случилось.

«Скажи „да“, — попросила Соня. — Пожалуйста. Скажи».

— Да, — сказал я. — Можно. Пусть поищет.

Ульяна серьёзно кивнула — договор подписан — и поставила кота на край стола носом к окну.

— Он завтра вернётся и расскажет, — сказала она. — А ты ложись спать. У тебя лицо как у Луны. Которая отворачивается.

Экран погас. Я сидел на краю кровати с телефоном в руке.

«Она хорошая».

«Да».

«Ты ей не сказал, кто такая Ксю».

«Нельзя было».

«Я знаю. Но ты сказал правду. Не всю, но правду. Так тоже можно, да? Не всё, но правду?»

Я подумал о Вере и пустом ящике, о Нао и её «Он рад вас слышать», о себе самом и створке, которая «держалась на честном слове».

«Это и есть самое трудное, Сонь. Не всё, но правду».

* * *

Олег позвонил в половине двенадцатого.

Я уже лёг, но не спал. Лежал и слушал, как во дворе кто-то безуспешно заводит мотоцикл и как Соня внутри меня, в той части, которую я ещё не научился называть, старательно пробует подражать этому звуку. Ей нравились моторы. Ей вообще всё нравилось, кроме колёс.

— Не разбудил? — спросил Олег. Голос у него был странный — не сердитый, к которому я привык за месяц, а осторожный.

— Нет. Что случилось?

— Спелеологи сегодня дошли до твоей полости. Вода спала, они прошли без баллонов, как ты.

— И?

— Марк, ты точно оставил ящик на месте? Образец ты забрал, это я знаю, ты говорил. А ящик?

— Оставил. На уступе, в выемке над полом. Я его даже не сдвигал, только крышку приподнял.

— Ящика нет, — сказал Олег. — И выемка пустая. Скобу из стены срезали болгаркой, ребята говорят, срез свежий — недели две, не больше. На песке у воды следы, не наши и не твои: ботинки сорок пятого размера с хорошим протектором. Двое. Шли с аквалангами — от баллонов остались вмятины.

Я сел на кровати.

— Две недели — это…

— Это сразу после нас. Мы уехали — они пришли. Координаты я никому не давал, кроме ребят и тебя. Ребята в Новосибирске, у них журнал выходов, до сегодняшнего дня они там не были. Валере ты слал сам. Кто ещё знал?

Я не ответил. В голове сам собой встал список, как раньше вставали кадры: Олег, трое спелеологов, Валера, я. И фотографии ящика, которые я отправил Валере через Ксю.

«Соня, — сказал я как можно спокойнее. — Когда Ксю отправляла фотографии, через что она их слала?»

Соня ответила не сразу.

«Через обычную почту. Я помню, она мне показывала, ночью, когда учила».

«Её могли прочитать?»

«Её… — Соня запнулась. — Ксю говорила: всё, что идёт по проводам, кто-нибудь может прочитать, если очень захочет. Поэтому важное она шифровала. А это не шифровала. Это же было просто для Валеры. Просто ящик».

— Марк? — позвал Олег. — Ты там?

— Тут. Олег, никому больше не говори — ни про ящик, ни про следы. И ребятам скажи, пусть не пишут в отчёт, пока мы не поймём.

— Ты меня пугаешь.

— Меня сегодня все этим упрекают, — сказал я. — Спокойной ночи, Олег.

Я положил телефон и долго сидел в темноте. Мотоцикл во дворе наконец завёлся, взревел и уехал.

Кто-то был рядом с этой пластиной раньше меня — записал, закрыл и ушёл, не взяв. А сразу после меня вернулся, с аквалангами и болгаркой, и забрал пустой ящик. Пустой. Значит, пришёл он не за ящиком, а за тем, что лежало внутри, — и нашёл только место, где оно лежало.

«Марк, — прошептала Соня. — Они теперь знают, что её нет».

«Да».

«Они будут искать того, кто её взял».

Я посмотрел на тонкий тёмный браслет на запястье. В темноте его почти не было видно, и только тепло выдавало, что он там.

«Да, Сонь. Будут».

Глава 8. Мастерская

В воскресенье утром Соня зашифровала всё.

Почту, переписку с Валерой, облако с фотографиями, телефонную книгу, заметки, ненужный мне уже список покупок и почему-то прогноз погоды. Я проснулся оттого, что телефон на тумбочке тихо и деловито мигал, как прибор в реанимации.

«Ты что делаешь?»

«Закрываю. Ксю говорила: важное надо закрывать. А я не знаю, что важное. Поэтому всё».

«Прогноз погоды тоже важное?»

«Его могут прочитать и узнать, что ты интересуешься дождём».

Я сел на кровати. Спорить было трудно: формально она была права, а неформально я был человеком, который вчера узнал, что двое в аквалангах срезали болгаркой скобу, у которой стоял ящик.

«Ладно. Прогноз пусть остаётся закрытым. Только скажи Валере, как теперь открывать мои письма. Он и так их с трудом читает».

«Я ему уже написала. Он ответил: „Хорошо, что хоть кто-то в этой семье думает“. Это про меня?»

«Про тебя».

Она выдержала паузу и сказала ужасно довольным голосом:

«Я в семье».

* * *

Во дворе Аня каталась на самокате вокруг клумбы. Лена сидела на лавочке с ноутбуком и что-то печатала, одним глазом на экран, другим на дочь. Увидев меня, она помахала.

— С приездом! Аня говорит, вы теперь японец.

— Пока только наполовину. Вторую половину выдадут после экзамена.

Аня затормозила рядом и поставила ногу на землю — уверенно, всей стопой — и потребовала сказать что-нибудь по-японски. Я сказал, что у неё отличный самокат и очень серьёзное лицо. Она не поняла ни слова и осталась совершенно счастлива.

Соня всё это время молчала. А когда Аня развернулась и поехала обратно к клумбе, тихо сказала:

«Он там».

«Кто?»

«Кусочек Ксю. В ней. Я думала, когда её не стало, он тоже… А он там. Тёплый. Такой же».

Я смотрел, как Аня огибает клумбу, наклоняясь в повороте, как когда-то наклонялась вместе с коляской, — только теперь сама.

«Он что-нибудь делает?»

«Нет. Молчит. Просто держит, как будто ему не сказали, что можно перестать».

У меня перехватило дыхание, и я сделал вид, что разглядываю окна дома напротив.

«Не трогай его, Сонь. Ладно? Пусть держит».

«Не буду. Только… можно я иногда буду проверять? Издалека. Что он тёплый».

«Можно».

Аня проехала мимо, крикнула: «Смотрите, без рук!» — и действительно на две секунды отпустила руль. Лена захлопнула ноутбук и встала, а я пошёл к метро.

* * *

На эскалаторе я заметил мужчину в серой куртке.

Ничего особенного: сорок с небольшим, короткая стрижка, рюкзак на одном плече, наушники. Таких в московском метро в восемь утра тысячи. Я бы не обратил внимания, если бы

не видел его вчера вечером у круглосуточного магазина под моим домом, когда выходил за хлебом. Тот же рюкзак и та же привычка поправлять лямку большим пальцем.

Память на лица у меня была с весны. Иногда это было удобно — я больше никогда не путал заказчиков. Иногда нет.

«Соня. Серая куртка, три ступеньки ниже».

«Вижу. С весны его не было рядом с тобой ни в одном кадре, я проверила все снимки. А вчера был. Я тоже видела, у магазина».

«Совпадение?»

«Не знаю. Ксю бы сказала: „недостаточно данных“. А я скажу: мне не нравится его рюкзак».

На пересадке я свернул не туда, куда шёл, прошёл переходом до соседней линии и вернулся. Серой куртки сзади не было. Может, её и не было с самого начала, и просто человек жил в моём районе и работал там же, где все: Москва — большая деревня, где все живут в одном районе и едут в одну сторону.

Но лицо я запомнил. Теперь насовсем.

* * *

Мастерская Михаила занимала две комнаты на первом этаже старого дома, окнами во двор. Я был здесь весной, когда забирал объектив, и тогда тут ещё пахло его табаком и смазкой. Теперь пахло только смазкой.

Лида открыла мне в отцовском рабочем халате, закатанном на рукавах в три оборота.

— Проходите. Я тут… разбираюсь.

Разбиралась она, судя по всему, вторую неделю. На верстаке стояли коробки, подписанные крупным почерком Михаила: «Объективы Зенит — живые», «Объективы Зенит — на запчасти», «ФЭДы — хлам, но жалко», «Не трогать — Лида», «Не трогать — НИКОМУ». Последняя была заклеена скотчем крест-накрест.

— Это квитанции, — кивнула Лида на стопку. — Люди сдавали технику в ремонт, а он не успел. Я обзваниваю, говорю: приезжайте забирать. Половина приезжает, смотрит на меня, на коробки и не знает, что сказать. Вторая половина спрашивает, кто теперь будет чинить.

Она села на табурет и устало потёрла лицо.

— А я не знаю, кто будет чинить. Я бухгалтер. Дебет от кредита отличаю, а затвор от диафрагмы — уже нет.

Я взял со стола первую попавшуюся камеру — старую немецкую «Практику» с квитанцией на резинке: «Затвор заедает на длинных выдержках. Срочно не надо. Петров». Взвёл затвор и закрыл глаза.

Механизм лёг в руки так же, как раньше ложились чужие лица, — не картинкой, а ощущением. Шестерни, пружины, тонкий латунный рычажок, который должен был ходить свободно, а ходил с запинкой. Пятнышко засохшей смазки на оси, размером с маковое зерно, — вот где он спотыкался.

«Вижу. Можно я?»

«Нет, это я сам. Посмотри как».

Я не стал ни греть, ни давить. Просто держал камеру и слушал её, как весной слушал рычажок штативной головки — здесь же, на этом верстаке, пока Михаил смотрел на меня из-под очков и делал вид, что ему совершенно неинтересно. Засохшее зерно упрямилось. Потом под пальцами чуть потеплело, ровно на тот градус, который был нужен, и смазка поплыла и растеклась по оси тонкой плёнкой.

Я нажал спуск на двух секундах. Затвор открылся и закрылся — чисто, без запинки, с тем звуком, за который старые фотографы любят старые камеры.

Лида смотрела на меня с табурета.

— Вы его даже не открывали.

— Михаил мне так объяснил, — сказал я. — Сначала слушай, потом лезь отвёрткой. В половине случаев отвёртка не нужна.

Это было почти правдой: Михаил действительно так говорил. Только имел в виду совсем другое слушание.

Лида встала и протянула мне вторую камеру.

К обеду я починил девять: три «Зенита», «Практику», «Киев» с дальномером, который не сводил изображения, плёночный «Никон» с умершим экспонометром — тут пришлось взяться за отвёртку, потому что окислился контакт, — и три цифровые мыльницы, которые сдавали, кажется, просто от отчаяния. На последней Лида перестала смотреть на мои руки и начала смотреть на тающую стопку квитанций.

— Папа над этим «Киевом» сидел месяц, — сказала она. — Говорил, дальномер — это не ремонт, а медитация.

— Он был прав. Я просто медитирую быстро.

Она засмеялась — впервые за утро. Потом перестала, отвернулась к окну и некоторое время стояла так, спиной ко мне.

— Марк, — сказала она, не оборачиваясь. — Я это не потяну. Ни аренду, ни людей, ни коробки. Хотела закрыть до конца месяца. А теперь… — она махнула рукой на починенные камеры. — Вы ведь всё равно фотограф. Вам ведь нужно где-то держать технику, работать.

Она достала из кармана халата связку ключей и положила на верстак, и ключи звякнули о металл.

— Аренда заплачена до весны. Папа всегда платил вперёд, не любил быть должен. Если хотите — берите, хотя бы до весны. Люди будут приходить, вы будете им чинить. Или не будете, как хотите. Мне просто не хочется, чтобы тут стало пусто.

Я смотрел на ключи. На брелоке висела маленькая латунная шестерёнка — та самая, которую Михаил вертел в пальцах, когда думал.

«Возьми. Тут хорошо. Тут всё понятное».

Я взял.

— Деньги за ремонт — пополам, — сказал я. — Клиенты его, мастерская его. Мои только руки.

— Марк, я не…

— Пополам, Лида. Иначе я буду чувствовать себя человеком, который пришёл на похороны с прайс-листом.

Она посмотрела на меня, потом на ключи в моей руке и кивнула. А потом достала из кармана халата блокнот и записала что-то аккуратно, цифрами в столбик. Бухгалтер есть бухгалтер.

Пока она звонила очередному клиенту, я взялся за коробку «ФЭДы — хлам, но жалко».

— Папа покупал всё, что приносили «на запчасти», — сказала Лида, прикрыв трубку ладонью. — Старики приходили с камерой мужа, с камерой отца, а он не мог смотреть, как они плачут над железкой. Платил больше, чем она стоила, и ставил в эту коробку. Мама ругалась. Говорила, что он собирает не технику, а чужое горе.

В коробке лежало штук двадцать ФЭДов, довоенных и послевоенных, с отбитыми углами, прикипевшими затворами и без объективов. Я перебирал их и откладывал: этот на детали, этот можно оживить, этот только на память. Руки работали быстро, и механизмы откликались один за другим, знакомые и простые, как таблица умножения.

Двадцатый откликнулся не так.

Снаружи это был обычный ФЭД — чёрный, облезлый, с кривой гравировкой харьковской коммуны на верхней крышке и заклёпкой там, где её быть не должно. Только весил он не так. Я подержал его на ладони и почувствовал, что вес сидит не там, будто у камеры внутри другой центр.

Я закрыл глаза и послушал.

Затвор был не фэдовский: другие шторки, другой барабан, пружины тоньше и старше. Видоискателя под крышкой не было вовсе — там, где у ФЭДа сидит дальномер, была пустота, аккуратно заполненная войлоком, чтобы не болталось. Верхняя крышка лежала поверх другой, родной, как чужая шапка на чужой голове. А под чёрной краской на корпусе был ещё один, старый слой, и под ним — гладкий металл с гравировкой.

«Марк, — сказала Соня. — Это не он. Это кто-то другой, переодетый».

«Вижу».

Я взял отвёртки. Чужую крышку держали четыре грубых советских винта, посаженных на чужую резьбу. Один сорвался, и я выкрутил его пальцами, выпрямляя резьбу на ходу, как весной выпрямил направляющую объектива. Крышка поднялась, и под ней оказалась другая — светлая, тонкая, со складным рамочным видоискателем, прижатым к корпусу.

Растворитель для краски я брать не стал. Просто положил пальцы на корпус и почувствовал слой — где кончается чужое и начинается родное. Чёрная краска отошла, как отходит засохший клей с ладони: не сразу, полосками, не тронув того, что было под ней. А под ней оказалась мелкая, тонкая немецкая гравировка.

«Ernst Leitz Wetzlar» — и номер. Первая цифра была единица, последняя девятка, а среднюю кто-то давно и старательно сточил напильником.

— Лида, — сказал я. — Подойдите, пожалуйста.

Она подошла, держа телефон у уха, посмотрела на камеру у меня в руках и ничего не поняла. Я бы на её месте тоже не понял.

«Соня. Нулевая серия, двадцать третий год. Посмотри, сколько их известно».

В висках коротко зашуршало.

«Сделали около двадцати пяти, известных сохранилось шестнадцать — по музеям и частным собраниям. В двадцать втором году одну продали за четырнадцать миллионов евро, другие уходили за два, четыре, семь. Марк… это семнадцатая?»

— Что это? — спросила Лида, опуская телефон.

— Камера, с которой всё началось, — сказал я. — Таких сделали около двадцати пяти, ещё до того, как «Лейку» начали продавать в магазинах. Известно шестнадцать, а это, похоже, семнадцатая. Кто-то переодел её в ФЭД — наверное, после войны: трофей, лишние вопросы. Стёр номер, надел чужую крышку, закрасил. А потом много лет кочевала по чужим шкафам, пока не попала в коробку с хламом.

Лида смотрела на камеру, потом на меня.

— Сколько? — тихо спросила она. Бухгалтер есть бухгалтер, даже когда у него трясутся руки.

— Миллионы евро. Если она настоящая и если я правильно её восстановлю, не заменив ни одной детали. Им важно, чтобы всё было родное.

Лида медленно села на табурет — так садятся люди, которым только что сообщили, что они выиграли в лотерею, в которой не участвовали.

— Это ваше, Лида, — сказал я. — Это его. Он купил её у кого-то, кто плакал над железкой. Значит, она ваша.

— Нет, — сказала она сразу, без паузы. — Я отдала вам мастерскую со всем, что в ней. Он бы так сделал. Нашли её вы, а не я. Я бы выбросила её вместе с этой коробкой до конца месяца. Я её сегодня утром чуть не выбросила.

— Лида…

— Марк. Не спорьте с бухгалтером о собственности. Я сказала — ваше.

Я посмотрел на камеру, на тонкую светлую крышку, на складной видоискатель, через который сто лет назад кто-то впервые увидел мир в узкий кадр двадцать четыре на тридцать шесть — тот самый кадр, в котором я потом прожил всю жизнь.

Спорить я не стал. Пока.

«Соня, — сказал я. — Ты сможешь продать её так, чтобы никто не узнал, кто продаёт?»

«Через юриста и аукционный дом. Ксю показывала, как делают анонимно. Да».

«Тогда обсудим потом. Сначала восстановить — не торопясь и без единой чужой детали».

Я завернул камеру в чистую фланель и положил в сейф Михаила — старый, зелёный, с ручкой-штурвалом, где раньше лежали квитанции и бутылка коньяка «на случай, если клиент заплачет». Коньяк я оставил на месте.

* * *

В начале третьего Валера приехал и привёз Нину Павловну.

Этого я не ожидал. Он предупредил, что «заедет с одним человеком», и этим человеком оказалась маленькая сухая женщина в светлом плаще, с палкой, которую она носила скорее для виду, и очень прямой спиной. Последний раз я видел её на похоронах. Тогда она стояла у самой ямы и не плакала, а потом сказала мне: «Почти сорок лет он ждал». Кого она имела в виду — Михаила или Сергея, — я до сих пор не знал.

— Ирина в машине, — сказала Нина, проходя в мастерскую так, как проходят в собственную квартиру. — Боится, что я упаду и разобью что-нибудь ценное. Я ей сказала, что всё ценное тут уже давно разбито.

Она увидела Лиду, подошла, взяла её руку обеими своими и подержала, ничего не говоря. Лида кивнула.

— Валера говорит, вы хотите сверить записи Серёжи, — повернулась ко мне Нина. — Как было у него и как у вас. Я всё привезла. И кое-что ещё — Миша просил ещё весной. Сказал: если со мной что, отдайте Марку.

Валера поставил на верстак сумку с папками. Я сел напротив Нины и тогда заметил браслет.

Он был у неё на левом запястье — тонкий металлический обод с узкой полоской вдоль, похожий на старые часы без циферблата. Весной полоска ненадолго загоралась при мне бледным зелёным светом, и Нина тогда долго на неё смотрела.

Сейчас полоска горела не бледно, а ровно и ярко, во всю длину. А у самого края, где обод сходился, зажглась вторая, тоньше и другого оттенка. Весной её не было.

Нина опустила глаза на руку.

— Однако, — тихо сказала она.

«Соня, — позвал я. — Вторая — это ты».

«Я ничего не делаю! Я просто здесь!»

«Вот поэтому. Ты здесь, а её прибор это видит. Можешь тише? Глубже?»

«Как?»

Я не знал как. Ксю на моём месте просто сказала бы: «Закрываю внешний отклик», — и полоска погасла бы раньше, чем я договорил.

«Как тогда у Валеры на кухне, — сказал я. — Помнишь? Ксю закрывала дверь, в которую стучатся, а ты держала нас внутри. Теперь надо и то и другое. Закрой дверь, но не уходи».

Соня молчала. Я чувствовал, как она пробует — неловко, с перебором, как я сам весной впервые пробовал сузить восприятие и сузил его так, что перестал слышать собственный голос. На секунду у меня потемнело в глазах, потом прояснилось. Вторая полоска на браслете Нины мигнула, побледнела и погасла.

Первая осталась. Её Соня погасить не могла: это был я сам — мой профиль, моя система, всё то, что светилось при мне с весны.

«Получилось?» — шёпотом спросила Соня.

«Получилось. Только не отпускай».

«Это трудно. Как держать дыхание, только не дыхание».

«Я знаю. Держи».

Нина смотрела на браслет, потом на меня — тем же взглядом, что и весной, когда рассказывала про Сергея: внимательно и без жалости, как человек, который сорок лет смотрел на то, чего другие не замечают.

— Марк, — сказала она. — Что с вами было в Японии?

Валера, раскладывавший папки, замер с одной из них в руке.

Я мог бы рассказать. Нина знала больше всех нас — про материал, про Сергея, про то, как он забывал, кто стоит рядом. Она бы поняла, может быть, единственная из всех. Но Нина приехала с Ириной, Ирина сидела в машине у подъезда, у Ирины был телефон, а у телефона — почта, которую никто не шифровал. И где-то в Москве ходил человек в серой куртке, поправлявший лямку большим пальцем.

— Встреча прошла плохо, — сказал я. — Я уехал раньше.

Нина смотрела на меня ещё несколько секунд. Потом коротко кивнула, словно записала мой ответ в какую-то свою тетрадь, где он встал рядом со многими другими ответами, которые ей давали за сорок лет.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда давайте работать.

* * *

Работали мы до вечера.

Нина привезла тетради Сергея — не копии, а оригиналы в клеёнчатых обложках, с пятнами чая и карандашными пометками на полях. Валера раскладывал их рядом со своими записями, и я впервые увидел со стороны, как это выглядит: два человека, разделённые сорока годами, записывают одно и то же.

«Пальцы не отпускают кружку. Пришлось ставить на стол и разжимать другой рукой». Сергей, 1977.

«Чашка не отпускается. Ограничение по методу Сергея». Валера, май этого года.

— Вот, — сказала Нина и подчеркнула ногтем первую строчку. — Это у вас было?

— Весной. Сейчас нет.

— Пока нет, — поправила она без всякой жестокости, просто уточнила.

Валера быстро посмотрел на меня и промолчал. Он рассказал Нине про замеры, про динамометр и про то, что я расту, а не откатываюсь, — а про Соню не сказал ни слова. Нина слушала, кивала и мелким учительским почерком записывала что-то в свою тетрадь.

Потом она открыла последнюю тетрадь, полевую, с пятнами от воды на обложке, и долго её листала.

— Вот, — сказала она. — Это не про симптомы, а про соседний участок, под скалой. Серёжа читал мне это вслух, когда вернулся. Я тогда решила, что он устал.

Она развернула тетрадь ко мне. Почерк Сергея был здесь торопливый, карандаш давил так, что строчки проступали на обороте.

«Предмет в полости. Видим отчётливо. Взять не можем. Пальцы соскальзывают, как с мокрого стекла. Пробовали пинцетом, ножом, лопаткой — то же. Приборы почти ничего не дают. Будто он здесь и не здесь одновременно. Поставили ящик вокруг, на месте. Оставлен до следующего сезона. Не вскрывать в одиночку».

— Следующего сезона не было, — сказала Нина. — Серёжа заболел, потом закрыли поле, потом программу. До конца жизни он вспоминал этот ящик и говорил: «Он нас не выбрал». Я не понимала, что это значит.

Я смотрел на строчку про мокрое стекло. В полости я поддел пластину краем крышки, и она сошла сразу, с первого раза, тяжёлая и тёплая.

«Это про меня, — прошептала Соня. — Это они меня не могли взять».

«Знаю».

«А ты смог».

«Знаю, Сонь».

Валера медленно перевёл взгляд с тетради на мой левый рукав и обратно. Нина этого не заметила — или сделала вид.

Лида всё это время сидела у окна с квитанциями и делала вид, что не слушает. Но на словах «Серёжа» и «экспедиция» она поднимала голову. Михаил, наверное, никогда ей об этом не рассказывал. Отцы вообще мало рассказывают о том, что для них важнее всего.

«Марк, — сказала Соня. — Во дворе. Только не поворачивайся резко».

Я не повернулся. Перед Лидой на подоконнике стояла стеклянная банка с отвёртками, и в её боку отражался двор — кривой, вытянутый, как в широкоугольнике. У арки стоял человек в серой куртке, с рюкзаком на одном плече. Он смотрел на нашу вывеску — «Ремонт фототехники», выцветшие буквы Михаила — и поправлял лямку большим пальцем.

Потом повернулся и не спеша ушёл в арку, как человек, который выяснил всё, что хотел.

«Давно он там?»

«Минут десять. Я его раньше заметила, но держала дверь от браслета и боялась отвлечься. Если бы я отвлеклась, Нина бы заметила».

«Ты правильно сделала».

«Правда?»

«Правда. Сначала дверь, потом двор».

Нина подняла глаза от тетради, посмотрела на меня, потом в окно, где уже никого не было, и ничего не спросила.

Когда за окном начало темнеть, она закрыла последнюю тетрадь и сняла очки.

— Я обещала Мише, — сказала она. — Сейчас.

Она полезла в сумку и достала футляр — старый, кожаный, вытертый до замши, размером с ладонь, на тугой кнопке. Положила его на верстак между нами, но открывать не стала.

— Это Серёжино. У него была вещь — отвес, грузик на нити. Тёмный такой, тяжёлый, не металл… мы все думали, какой-то минерал с той же экспедиции. Он с ним никогда не расставался. Говорил, что слушает по нему стены: подвесит в комнате, посмотрит, как висит, — и знает, где дом держится, а где уже нет. Мы смеялись, а он ни разу не ошибся.

Она провела пальцем по краю футляра.

— В Спитаке он ходил с ним по развалинам. Подвешивал над плитами и искал, где можно лезть к людям, а где обрушится. Миша там был, рядом. Говорил, Серёжа так вытащил одиннадцать человек, а двенадцатого не успел. — Она прижала футляр ладонью. — Отвес не нашли ни при нём, ни рядом. Миша искал три дня и каждую плиту там помнил, а нашёл только вот это. Пустой футляр. Как будто самого отвеса там никогда и не было.

Она открыла кнопку.

Внутри лежал моток тонкой шёлковой нити, потемневшей от времени, аккуратно намотанный на деревянную шпульку. Конец нити был завязан маленькой петлёй, и петля была пустой: ей не на чем было висеть.

— Миша хранил это почти сорок лет, — сказала Нина. — А весной сказал: отдайте Марку. Я спросила почему, и он ответил: «Он поймёт, на что это вешали». Я не поняла, что он имел в виду. Может быть, вы поймёте.

Я протянул руку и коснулся нити.

Ничего. Обычный шёлк, сухой и чуть шершавый, ни тепла, ни отклика. Соня тоже молчала — держала дверь закрытой, как я просил, и не тянулась. Нить была просто нитью, а петля — просто петлёй.

А потом память сделала то, что делала с весны без спроса, — вернула кадр.

Каталожная съёмка годы назад: белый фон, софтбокс слева, подставка из оргстекла. Тёмный плотный образец с тусклым матовым боком выскальзывает из креплений, и я ловлю его голой рукой, не думая, как ловят падающий стакан. Немецкий голос за кадром: «Он брал его рукой?» Четырнадцатый кадр.

Тогда я смотрел на образец не глазами, а объективом: снимал его по заказу, с шести сторон, при трёх светах, и запомнил целиком, каждую грань и каждую неровность. На узком конце, там, где тёмный камень сходился почти в острие, был маленький круглый след. Не отверстие — как будто отверстие когда-то было, а потом затянулось, заросло тем же матовым камнем, оставив только едва заметное кольцо чуть другого оттенка. Такое бывает на старой керамике, когда дырочку для подвеса заделывают через много лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.